PG3453
.B7
Z72

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КНИЖН. СЕКТОРА
ГУБОНО
ЛЕНИНГРАД
1925

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

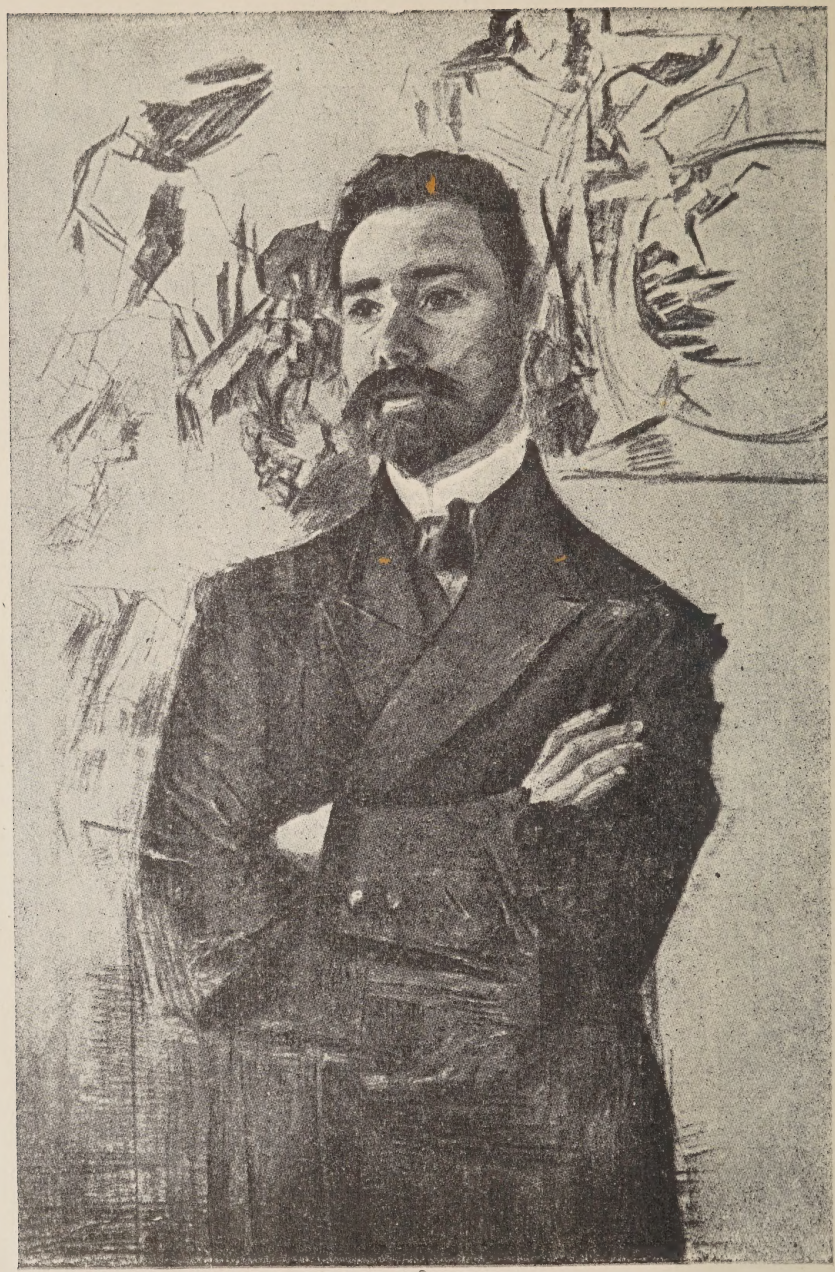
ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3453
.B7
Z72

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
OCT 29 '87			

Form No. 513
Rev. 1/84



Валерий Брюсов

В. Е. Максимов-Евгеньев

MC. PG3453
.B7
Z72

ПАМЯТИ
Валерия Брюсова

СБОРНИК

ЛЕНИНГРАД
Издательство Книжного Сектора ГУБОНО
1925

Ленинградский Гублит № 14931—4000 экз.—5¼ п. л.

Учеб. тип. 1-го Дома Коммуны. Мойка, 54.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.

Смерть В. Я. Брюсова, одного из самых крупных русских поэтов последней четверти века, — событие, которое не может не всколыхнуть широких общественных кругов.

Для любителя литературы, как художества, как искусства, Брюсов ценен, как создатель и глава школы русских символистов (оговариваемся, что лавры эти разделяет с ним Бальмонт), школы, обогатившей русскую поэзию и новым содержанием и новыми формами.

Для читателя-общественника Брюсов дорог, как поэт, сумевший постигнуть очарование города со всею сложностью и многообразием городской жизни, и смело взглянувший в лицо тем социальным противоречиям, которые вызвали сначала революционную вспышку 1905 г., а затем грандиозный социальный катаклизм 1917 — 1918 г. г. Для этого читателя не может быть безразлично и то обстоятельство, что Брюсов, символист и утонченник, с открытой душой приветствовал и 1905 г. и Октябрь 1917 г.

Наконец, не забудем, что Брюсов не только поэт, но и ученый исследователь на ниве истории русской литературы, но и крупный культурный работник, но и видный деятель партии...

Вот почему, думается нам, и чисто-литературные, и научные, и культурно-просветительные, и, наконец, партийные организации сочтут своим непременным долгом откликнуться на преждевременную кончину В. Брюсова (он умер 51-го года, в разгаре своей и литературной, и ученой, и культурно-просветительной работы) устройством особых вечеров или утр, посвященных его памяти. По всей вероятности, и многие трудовые школы,

в программы которых ныне вводится изучение произведений Брюсова, и тем более просветительные учреждения внешкольного типа не останутся безучастными к памяти того, кого еще недавно (справедливо или несправедливо—это другой вопрос) многие называли „королем русской поэзии", и пожелают устроить в своих стенах чествования Брюсова.

Настоящий сборник, помимо общего задания—послужить „памяткой о Брюсове" для всех интересующихся этим поэтом и желающих освежить свое знакомство с ним, имеет еще и специальную цель—дать минимум материала, необходимого для проведения посвященных Брюсову собраний, а также литературных вечеров или утр.

Сборник распадается на четыре части: первая, биографическая, рисует жизнь почившего его собственными словами (автобиография в извлечениях), выявляет отношение к нему рабоче-крестьянской власти (грамота ВЦИК) и приводит отрывки из воспоминаний о нем А. В. Луначарского; вторая (статья автора этих строк) дает обзор поэтического творчества Брюсова; третья предлагает примерный план литературных вечеров (утр), посвященных Брюсову, и материал для них, в виде текста 20 стихотворений В. Я.; наконец, четвертая содержит краткую библиографию произведений Брюсова и наиболее существенного из того, что написано о нем.

К сборнику приложен снимок с портрета Брюсова кисти Врубеля, который, как это явствует из одного из неизданных писем поэта к С. А. Венгерову, был единственным его удовлетворявшим, и снимок с неизданного варианта одного из его сонетов.

За предоставление этого последнего составитель и издательство выражают свою признательность лицам, заведывающим архивом С. А. Венгерова.

Автобиография В. Я. Брюсова (в извлечениях).

„Родился я 1 декабря в Москве, в купеческой семье. Дед по отцу был еще из крепостных и откупился от барина на волю. Пришедши в Москву молодым человеком, дед начал с ремесла печника, но потом, получив маленькое наследство от своего дяди, открыл торговлю пробками. Сначала дело шло тихо, но во время Крымской кампании деду посчастливилось, и явилась возможность торговлю расширить. К концу своей жизни дед обладал значительным достатком, купил в Москве каменный дом и, по завещанию, оставил, сверх того, более 200.000 рублей. Что касается образования деда, то оно, разумеется, было самое скудное, и он не без труда подписывал свое имя.

Совсем иного склада человек был мой второй дед, по матери, Александр Яковлевич Бакулин. Это был лебедянский мещанин, занимавшийся преимущественно земледелием: он арендовал имения и вел жизнь помещика, но с ранних лет истинной страстью его была литература. Он писал лирические стихи, поэмы, повести, романы, драмы, но особенно сильным считал себя в баснях... Кое-что из своих произведений деду удавалось пристроить в разные мелкие издания, а в 1864 г. он даже издал отдельной книжкой свои басни (под псевдонимом „Басни провинциала“). Предоставляя сыновьям заниматься хозяйством (он был женат дважды, и у него была огромная семья), дед обычно целые дни проводил за письменным столом, исправляя свои старые сочинения и неустанно исписывал новые груды бумаги. Сыновья и дочери, конечно, подсмеивались над тем, что считали чудачеством отца, но дед до конца жизни ждал, что его наконец оценят по справедливости, и

умер с уверенностью, что придет когда-нибудь его день, и Россия поставит после имен Державина, Крылова и Пушкина равное им имя — Александра Бакулина.

Отец мой, Яков Кузьмич, родился в 1848 г., когда дела пробочной торговли шли еще очень скромно. Об образовании отца, разумеется, его родители не особенно заботились: научили его, у приходского дьячка, грамоте и арифметике и сочли, что этого довольно. С детства отцу пришлось „заниматься при лавке". Но близились 60-е годы; „лучи света" стали проникать и в „темное царство" московского купечества. Отцу посчастливилось сблизиться с кружком молодых людей, стремящихся к самообразованию. Отец засел за книги и стал учиться серьезно...

Отец женился на моей матери (Матрена Александровна, ур. Бакулина) в 1872 г., когда дела пробочной торговли шли уже вполне хорошо и в расходах можно было не особенно стесняться. Естественно, что мне, старшему ребенку в семье, постарались дать наилучшее, какое могли, воспитание. С младенчества я видел вокруг себя книги (отец составил себе довольно хорошую библиотеку) и слышал разговоры об „умных вещах". Читать я научился очень рано, когда мне еще не было четырех лет, и, пристрастившись к чтению, усердно прочитывал все „фребелевские" издания, появлявшиеся тогда. От сказок, от всякой „чертовщины" меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножению. Нечего и говорить, что о религии в нашем доме и помину не было: вера в бога мне казалась таким же предрассудком, как и вера в домовых и русалок.

Очень рано ко мне стали приглашать гувернанток и учителей. Но их дело ограничивалось обучением меня „предметам": воспитываться я продолжал по книгам. После детских книжек настал черед биографий великих людей: я узнавал эти биографии как из отдельных изданий, которые мне покупали во множестве, так из известной книги Тиссандье „Мученики науки" и из журнала „Игрушечка" (издание Пассек), который для меня выписали и который уделял много места жизнеописаниям. Эти биографии произвели на меня сильнейшее впечатление; я начал мечтать, что сам непременно сделаюсь „великим"... Чтение скоро стало моей страстью, и я без разбора поглощал книгу за книгой. От биографий великих людей был

нетруден переход к романам Жюля-Верна, а потом к Куперу, Майн-Риду, Марриэту, Эмару. Их книги тоже произвели на меня впечатление сильнейшее. Но рядом с ними я читал французские бульварные романы: Понсона дю-Террайля, Ксавье де-Монтепена, Габорио, а в то же время и все научные книги, какие попадались под руку: „Небесные светила" Митчеля и „Происхождение видов" Дарвина, „Минералогию" Медведева и даже „Частную патологию и терапию" Нимейера. Наконец, в эту же пору жизни, лет восьми, я прочел впервые Добролюбова и Писарева. Но зато классическую литературу я знал плохо: не читал ни Толстого, ни Тургенева, ни даже Пушкина; изо всех поэтов у нас в доме было сделано исключение только для Некрасова, и мальчиком большинство его стихов я знал наизусть. Можно еще добавить, что параллельно с чтением я увлекался еще „научными опытами". Игрушек мне не дарили, да я и презирал их, зато дорогими подарками были для меня модели паровых машин, приборы для простейших физических опытов и особенно набор для опытов с электричеством (маленький электроскоп, лейденская банка и т. п.).

Большим переворотом в моей жизни было то, что меня, наконец, отдали в школу, в частную гимназию Фр. Креймана, сразу во второй класс. Мне было тогда 11 лет. Я не привык к обращению со сверстниками (встречался с ними только летом на даче) и в толпе товарищей совершенно потерялся... Понемногу, однако, нашлось в классе несколько мальчиков, с которыми я сблизился. Соединила нас общая любовь к литературе. Я с ранних лет, едва научившись писать, уже пробовал „сочинять". Писал я прозой, частью повести в духе Жюля-Верна, частью „научные" статьи, в которых излагал свои взгляды не более не менее, как на „систему мира", поправляя воззрения Коперника и Ньютона. Правда, случалось мне писать и стихи, конечно, в некрасовском духе, но редко и без особой страсти. Товарищи мои, напротив, все были „поэты". Не без их влияния я тоже обратился к стихам, постиг „стихов российских механизм" и стал соперничать с новыми друзьями в сочинении стансов, элегий и даже сонетов. Мы основали рукописный журнал „Начало", и я сделался его усерднейшим сотрудником. Общение с товарищами показало мне, как слабы мои познания в литературе, и я со страстностью бросился пополнять их. В течение какого-нибудь года я про-

чел тогда едва ли не всю русскую литературу, от Пушкина и Лермонтова, через Тургенева, Толстого, Достоевского, до Лескова и Крестовского—псевдоним. Разумеется, то было чтение слишком поверхностное, и позднее мне пришлось все перечитывать заново.

В гимназии Креймана я провел четыре с половиною года. Сначала я учился очень хорошо, потом очень плохо. Последнее об'ясняется тем, что уже в 3-м, а особенно в 4-м классе я забросил учение ради удовольствий, не совсем невинных... Наша семья переживала тогда трудную пору... На мое поведение никто не обращал внимания. Мне свободно предоставляли возвращаться домой поздно ночью или даже под утро, и это, в связи с тем, что у меня всегда были карманные деньги, открывало мне полную возможность вволю наслаждаться „ночными приключениями". Понемногу я отошел от того круга товарищей, с которыми меня сблизила любовь к литературе, и сблизился с другим кругом—любителей кутежей и попоек.

Однако, покинуть гимназию Креймана мне пришлось все же по другому поводу. Уже в 4-ом классе я числился на самом дурном счету у гимназического начальства за свои „вольнодумные" суждения, которые мне случалось, по детской заносчивости, высказывать в лицо учителям. Перейдя не без труда в 5-ый класс, я вздумал возобновить издание рукописного гимназического журнала. Но на этот раз литературе в моем „Листке V класса" было отведено лишь второстепенное место. Листок был посвящен гимназическим „злобам дня" и, страшно сказать, политике. Почти единственным сотрудником был я сам, и еженедельно, в 5—6 экземплярах, распространял среди товарищей свой „Листок", наполненный памфлетами против учителей, гимназического начальства, и, отчасти, критикой различных явлений общественной жизни. В наши дни, когда в редкой гимназии нет среди гимназистов кружка, в котором начальство усматривает „преступное сообщество, имеющее целью ниспровержение существующего строя", мои писания показались бы невинным лепетом. Не то было в 80-х годах: тогда даже директору частной гимназии, нашему Францу Ивановичу (в руки которого „Листок", конечно, попал), мои робкие памфлеты и ребяческое прославление республиканской формы правления(я, само собой разумеется, с детства

был республиканцем) представились чуть ли не чудовищным преступлением. Вспомнили, что еще раньше наш „батюшка“ (известный протоиерей Сергиевский) жаловался на то, что я распространяю среди товарищей атеистические идеи. В результате отцу моему предложили „взять“ меня из гимназии, как мальчика, способного совратить других с доброго пути...

Осенью я держал экзамен в 6-ой класс гимназии Поливанова и выдержал это испытание „весьма“ успешно... Учился я в гимназии Поливанова хорошо и считался в числе лучших учеников. Наилучшими были мои успехи в математике... Другим моим увлечением того времени была философия: я прочел несколько курсов истории философии, читал Канта, Шопенгауэра, но более всего заинтересовался системой Спинозы, настолько, что читал „Этику“ в подлиннике и написал к ней обширный комментарий.

В эти годы я уже сознательно работал над своим стихом, начиная определенно сознавать себя поэтом. После ребяческих опытов, написанных в духе Некрасова, я одно время подпал под влияние Надсона, которым в те годы увлекалась вся молодежь. Следующим моим учителем был Лермонтов. Его манеру я усвоил в такой степени, что иные мои стихи, написанные в конце 80-ых годов (они не напечатаны), можно принять за юношеские стихотворения Лермонтова (разумею, конечно, его слабые опыты 1828—29 г.). Только после Лермонтова настала для меня пора, когда я смог оценить величие и значение Пушкина...

Около того же времени (т. е. около 1890 г.) я впервые познакомился с поэзией французских символистов: с Верлэном, Маллармэ и Римбо. Это было для меня целым откровением; не будучи знаком с западно-европейской литературой последнего полустолетия, я только из их стихов понял, как далеко ушла поэзия от творчества романтиков...

Я кончил гимназию 1892 году и, после некоторого колебания, поступил все же на филологический факультет. Переход из гимназии в университет для меня не был особенно чувствителен, так как, и учась в гимназии, я пользовался совершенной свободой личной жизни. Я переменил только форму одежды, но не переменил образа жизни... Со студенческим кругом я не сблизился, вероятно, все по той же своей неспособности легко сходиться с людьми. Кроме того, студенты

все, прежде всего, интересовались политикой, я же в те годы, простившись со своим детским республиканством, решительно чуждался вопросов общественности и все более и более отдавался литературе.

В университете я провел пять лет: один год лишний, потому что был я и на отделении классической филологии, которое потом переменил на отделение историческое. Кроме классиков, я более специально занимался в университете философией, и мое „зачетное сочинение" было написано на тему— „Теория познания у Лейбница". Лейбниц стал моим любимейшим философом, после того, как я разочаровался в Спинозе... Курс университета я кончил (т. е. сдал экзамены) в 1899 г. с „дипломом первой степени".

Впрочем, интересы науки для меня определенно отступали на второй план перед интересами литературными. В 1894 году небольшая серия моих стихотворений была напечатана в сборнике вышедшем под заглавием „Русские символисты". Как известно, этот 1-ый выпуск „Русских символистов", так же как и последовавшие вскоре два других, осенью 1894 г. и летом 1895 г., вызвали совершенно несоответствующий им шум в печати. Посыпались десятки, а, может быть, и сотни рецензий, заметок, пародий, и наконец их высмеял Вл. Соловьев...

Вместе с третьим выпуском „Символистов" я издал свой первый сборник стихов. Озаглавил я его faute de mieux„ Chefs d'Ouevre"... Кроме сборника „Chefs d'Ouevre", в эту первую пору моей деятельности мной были изданы еще крохотный сборник стихов „Me eum esse" (позднее значительно увеличенный мною), брошюра „Об искусстве" и перевод „Романсов без слов" П. Верлэна (перевод в достаточной мере слабый).

Выступление в печати, однако, в одном отношении сыграло важную роль в моей жизни; оно помогло мне завязать кое-какие литературные знакомства. Из числа этих знакомств два оказали на меня и на развитие моей поэзии огромное влияние: закомство с К. Д. Бальмонтом и с Александром Добролюбовым.

С Бальмонтом я встретился впервые в студенческом „Обществе любителей Западной литературы", деятельнейшими членами которого были составившие себе впоследствии некоторое имя в литературе (тогда студенты) В. И. Фриче, П. С.

Коган, В. Шулятиков и Марк Криницкий, а также А. А. Курсинский, даровитый поэт, выпустивший позднее два сборника стихов. Это маленькое общество (были и другие члены) собиралось довольно часто, обсуждало рефераты, спорило, а потом все кончалось, обычно, дружеской пирушкой, за которой читались стихи, написанные ее участниками. Бывал на этих собраниях и Бальмонт. Он тогда только начинал свою писательскую деятельность (издал первый выпуск переводов Шелли и сборник стихов „Под северным небом"), был жизнерадостен и полон самых разнообразных литературных замыслов. Его исступленная любовь к поэзии, его тонкое чутье к красоте стиха, вся его своеобразная личность произвели на меня впечатление исключительное. Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось только через Бальмонта. Он научил меня понимать других поэтов, научил по-настоящему любить жизнь. Я хочу сказать, что он раскрыл в моей душе то, что в ней дремало, и без его влияния могло дремать еще долго.

Вечера и ночи, проведенные мною с Бальмонтом, когда мы без конца читали друг другу свои стихи и читали друг другу стихи своих любимых поэтов: он мне—Шелли и Эдгара По, я ему—Верлэна, Тютчева (которого он тогда не знал), Каролину Павлову, эти вечера и ночи, когда мы говорили с ним de omni re scibili,—останутся навсегда в числе самых значительных событий моей жизни. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним. Впрочем, не без гордости могу добавить, что, несомненно, и я оказал свое влияние на Бальмонта; он сам сознается в этом в одном из своих воспоминаний...

Если через Бальмонта мне открылась тайна музыки стиха, если Добролюбов научил меня любить слово, то Коневскому я обязан тем, что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении,—его философский или истинно-символический смысл...

В дальнейшем (если не говорить здесь о „романах" моей жизни, для чего, конечно, еще не настало время) моя биография сливается с библиографией моих книг и моих других печатных работ.

Первый журнал открывший мне свои страницы, был „Русский Архив", где я стал печатать свои историко-ли-

тературные и библиографические изыскания. Одно время (в течение трех лет) я даже был секретарем редакции в „Архиве". После „Архива" я получил доступ в „Ежемесячные сочинения", которые издавал И. И. Ясинский, где я поместил, кроме ряда стихотворений, несколько статей, и, затем, в „Мир Искусства", единственный в те годы журнал (после прекращения „Северного Вестника"), сочувствующий „новому искусству". В то же время я писал и в некоторых других изданиях: по рекомендации И. А. Бунина—в одесской газете „Южное Обозрение", по рекомендации Бальмонта—в английском „The Atheneum", куда я давал ежегодно обзоры русской литературы, в „Ребусе", так как интересовался вопросами оккультизма...

Около 1899 года в Москве организовалось книгоиздательство „Скорпион". Его основателем был С. А. Поляков, в те дни молодой человек (немного моложе меня), едва окончивший университет (по математическому факультету), очень образованный, знающий много языков, европейских и азиатских, широко начитанный и большой поклонник „новой поэзии". Меня с Поляковым сблизил Бальмонт. Четвертым постоянным участником „Скорпиона" был Ю. Балтрушайтис, талантливый поэт, личный друг Полякова. С самого основания книгоиздательства я принял в нем самое деятельное участие, сначала чисто дружеское, позже официальное, с определенным кругом обязанностей и определенным за них вознаграждением. „Скорпион" сделался быстро центром, который об'единил всех, кого можно было считать деятелями „нового искусства" и, в частности, сблизил московскую группу (я, Бальмонт и вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой старших деятелей, петербургскими писателями, об'единенными в свое время „Северным Вестником" (Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Минский и др.). Об'единение это было как бы засвидетельствовано изданием альманаха „Северные Цветы", в котором впервые появились на тех же страницах и вся группа „московских символистов" и большинство сотрудников „Северного Вестника".

В 1900 г. вышел в к-ве „Скорпион" третий сборник моих стихов „Tertia Vigilia" („Третья стража"). С него началось мое „признание", как поэта. Впервые в рецензиях на эту книгу ко мне отнеслись, как к поэту, а не как „раритету", и впервые в печати

я прочел о себе похвалы (М. Горького, с которым мне тоже приходилось встречаться лично, И. Ясинского и др). Около того же времени В. С. Миролюбов предложил мне сотрудничать в его „Журнале для Всех“, где я поместил ряд стихотворений. Несколько позже С. А. Венгеров дал мне возможность работать для выходящей под его редакцией „Библиотеки великих писателей“. Я переводил для него сонеты Шекспира и стихи Байрона (впоследствии писал статьи о жизни и произведениях Пушкина и перевел „Амфитриона“ Мольера).

Когда в 1903 г. Мережковские основали „Новый Путь“, они предложили мне быть секретарем нового журнала. Я, однако, переехать в Петербург не решился и был, так сказать, секретарем „почетным“. Впрочем, в составлении первых книжек я принимал деятельнейшее участие и поместил в „Пути“, кроме стихов, много чисто-журнальных статей и заметок...

В 1904 году к-во „Скорпион“ основало свой журнал „Весы“, и я, бросив „Новый Путь“, всецело отдался ему. В течение 4 лет я, совместно с С. А. Поляковым, редактировал „Весы“, и могу сказать, что за эти годы не было в журнале ни одной строки, которую я не просмотрел бы, как редактор, и не прочитал бы в корректуре. Мало того, громадное число статей, особенно начинающих сотрудников, было мною самым тщательным образом переработано, и были случаи, когда правильнее было бы поставить мое имя под статьей, подписанной кем-нибудь другим. Позднее мне приходилось читать, что „Весы“ сыграли свою роль в истории нашей литературы. Но в те годы, когда я „Весы“ редактировал, отзывы печати о них были совершенно иного рода, и то обстоятельство, что сотрудники журнала осмеливались критиковать писателей с своей точки зрения, об'являлось просто „наглостью“.

В 1903 году вышел четвертый сборник моих стихов „Urbi et Orbi“ (Граду и миру“). Его заглавием я хотел сказать, что обращаюсь не только к тесному „граду“ своих единомышленников, но и ко всему „миру“ русских читателей. Отзывы печати о книге были весьма разнообразны, но мне известно, что восторженная заметка о ней, написанная А. Блоком, так и не могла себе найти приюта ни в одном из журналов. В 1905 г., в самый разгар декабрьского восстания в Москве, вышел пятый сборник—„Венок“... „Венок“ был моим первым сравнительно крупным успехом. Издание (2.000 экз.) разошлось в полтора

года, тогда как прежние мои книги едва расходились в пять лет. После „Венка“ я уже стал получать приглашения участвовать от наших „толстых“ журналов и одно время писал в „Мире Божьем“, в „Образовании“ и т. д.

В эти годы (1903—1908) я часто выступал, как лектор, с публичными чтениями, в разных московских аудиториях. Некоторые из этих лекций имели большой успех, как, напр., мое чтение о „Театре будущего“, которое мне пришлось повторить несколько раз, всегда при переполненном зале.

Последний год издания „Весов“ я, по некоторым обстоятельствам, уклонился от дел редакции. В это время я приготовил и издал длинный ряд книг, частью написанных раньше. Так, за годы 1907—09 появились: книга переводов Верхарна, „Земная Ось“ (рассказы), „Огненный ангел“ (исторический роман), переводы: драмы д'Аннунцио „Франческа да Римини“, драмы Метерлинка „Пеллеас и Мелизанда“, драмы Верхарна „Елена Спартанская“, книга переводов французских поэтов: „Французские лирики XIX века“, исследование „Лицейские стихи Пушкина“, „Испепеленный“, речь о Гоголе (за которую, как, вероятно, многим памятно, я был освистан на торжественном заседании Общ. Люб. Рос. Слов.). Тогда же мне пришлось приступить к переизданию всех сборников моих стихов, что я и сделал в трех томах, озаглавленных „Пути и перепутья“. Несколько раньше я издал отдельно сборник собранных мною писем Пушкина и к Пушкину.

С прекращением „Весов“ в 1909 г., я стал помещать свои произведения преимущественно в „Русской Мысли“, и через год, с осени 1910 г., был приглашен редакцией журнала—заведывать литературно-критическим отделом. Эта моя деятельность в редакции „Русской Мысли“ длилась более двух лет, до конца 1912 г., причем мною было исполнено для журнала не мало чисто-редакционных работ...

С 1913 г. новое издательство „Сирин“ предприняло издание „Полного собрания“ моих сочинений и переводов. Издание рассчитано на 25, довольно об'емистых, томов, но оно, конечно, не вместит все, что я написал за 25 лет своей литературной работы... Более или менее полный список написанного (вернее, напечатанного) мною за эти 25 лет можно найти в „Библиографии Валерия Брюсова“, изданной к-вом „Скорпион“ (М. 1913).

Что касается фактов моей личной жизни, то здесь уместно

будет сказать лишь то, что я совершил немало маленьких „путешествий". Еще ребенком я был, с родителями, в Крыму. Студентом я ездил опять в Крым и на Кавказ, потом в Ригу и Варшаву, и совершил маленькое путешествие по Германии. По окончании университета, я с женой (я женился в 1897 г.) провел два лета в Крыму и одно в Ревеле. Потом мы несколько раз ездили за границу. Первая наша поездка ограничилась северной Италией, произведшей на меня сильное впечатление. Вторая поездка имела целью Париж, где мы и провели несколько недель. В революционный год (1906) мы летом жили в Швеции. Следующая наша (1908) поездка охватила всю Италию, южную Францию, часть Испании и закончилась в Париже, где я сблизился с кружком молодых французских поэтов. Из Парижа я совершил паломничество в Бельгию, чтобы лично познакомиться с Э. Верхарном. В следующем (1909) году мы опять совершили довольно большое путешествие по всей южной Германии и Швейцарии, где провели лето. Из Швейцарии я опять ездил в Париж (на полтора месяца) и в Бельгию к Верхарну. Последний раз (летом 1913 г.) мы посетили Голландию. Таким образом из европейских стран мне остались незнакомы только Англия и Балканский полуостров... Несколько раз, кроме того, я бывал в Финляндии (которая мне очень полюбилась) и на Рижском взморье...

Могу еще добавить, что, пользуясь некоторой популярностью в литературных кругах Москвы, я имею удовольствие последние годы видеть и принимать у себя большинство иностранных писателей и художников, почему-либо попадающих в Россию. Это об'ясняется, между прочим, и тем, что как во время своих поездок за границу, так и по переписке я вошел в сношения с очень многими иностранными писателями и художниками, немецкими, французскими, итальянскими, английскими, а также тем, что значительное число моих произведений переведено на иностранные языки.

Многие мои стихи положены на музыку композиторами: Ребиковым, Ивановым-Борецким, Гречаниновым, Рачинским, Панченко, Энгелем, Толоконниковым, Вильбушевичем, Василенко, Яворским, Гартманом, Глиэром, Саминским, Купером и др... *).

*) Печатаемая нами в извлечениях автобиография Брюсова помещена полностью в „Русской литературе XX века", под ред. С. А. Венгерова, вып. I. Автобиография помечена „1912—1913 гг."

Дополнение к автобиографии Брюсова.

Приведенные извлечения из автобиографии Брюсова нуждаются в некотором дополнении, так как автобиография эта заканчивается 1913 г., т. е. не охватывает последних десяти лет жизни поэта.

В дни империалистической войны Брюсов не только продолжал свою поэтическую работу, научные изыскания и журнальную деятельность, но и долгое время пробыл на фронте в качестве военного корреспондента.

Февральская, а также Октябрьская революция вызвали к себе вполне сочувственное отношение со стороны поэта, принявшего энергичнейшее участие в вызванном революцией культурно-просветительном строительстве. Насколько разносторонней и напряженной являлась его деятельность в послеоктябрьскую эпоху, об этом можно судить хотя бы по тому, что смерть застала его на посту ректора Высшего Литературно-Художественного Института его имени, председателя методической комиссии Главпрофобра по художественному образованию, члена Государственного Ученого Совета, члена Академии Художественных Наук, профессора МГУ (Моск. Госуд. Ун-та) по кафедре литературно-художественных наук и члена художественного сектора Госиздата.

17-го декабря 1923 г. в Москве торжественно было, отпраздновано 25-ти летие его литературной деятельности и Президиум В.Ц.И.К. обратился к нему с грамотой нижеследующего содержания:

Президиум В.Ц.И.К. поэту Валерию Брюсову.

„Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в день 25-летнего юбилея Валерия Яковлевича Брюсова отмечает перед всей страной его выдающиеся заслуги.

Даровитый поэт,—многосторонний ученый, он внес ценный вклад в культуру своей родины.

LX

Какъ волны набѣгаютъ на каменья
И гибнутъ на отлогомъ берегу,
Такъ, ~~мчатся~~ въ быстрой смѣнѣ, вдаль бѣгутъ мгновенья
И ни одно не медлитъ на бѣгу

Чуть молодость достигла полной силы,
Едва ~~дохнула~~ блеснула полнымъ торжествомъ,
Какъ наступилъ уже закатъ унылый,
И стало Время щедрое — скупцомъ

Оно сгибаетъ молодыя стѣны
Въ забвеньи топитъ лучшіе часы,
На лицахъ красоты кладетъ морщины, —
Ничто не свято для его косы

Но стихъ мой славитъ то, что такъ прекрасно!
Надъ нимъ, о Время, будешь ты невластно!

Валерій Брюсовъ

Еще задолго до революции в ряде стихотворений он выражал нетерпеливое ожидание освободительного переворота, приветствовал грядущую революцию, заранее выражая горячую симпатию ее последователям борцам и клеймя презрением людей половинчатых и нерешительных.

После Октябрьской революции он немедленно и твердо вступил в ряды ее работников, а с 1919 г. в ряды Российской Коммунистической Партии.

Он воспел с присущим ему талантом этот величайший в мировой истории переворот.

Последние шесть лет он неизменно работает на ниве коммунистического народного просвещения и является созидателем и руководителем Института Литературы, привлекшего к себе многие десятки пролетарских и крестьянских талантов, учащихся у него мастерству слова.

За все эти заслуги Президиум В.Ц.И.К. в день 25-ти летнего юбилея выражает Валерию Яковлевичу Брюсову благодарность Рабоче-Крестьянского Правительства".

В это же время Совнарком Армении почтил Брюсова, как переводчика армянских поэтов (несколько лет тому назад им был проредактирован и издан ценнейший сборник „Поэзия Армении", в который вошли и его переводы) и автора научных исследований по истории армянского народа (см. книгу Брюсова „Судьбы армянского народа") званием—„народного поэта Армении".

Предсмертная болезнь Брюсова не была продолжительной: 26-го сентября он заболел крупозным воспалением легких. Болезнь осложнилась воспалением плевры и, несмотря на усилия лучших медицинских сил Москвы, 9-го октября в 10 ч. утра, Брюсов скончался, находясь почти до последнего момента в сознании и сильно страдая.

Похоронен был Брюсов 12-го октября на кладбище Новодевичьего монастыря, там, где покоится прах А. П. Чехова и А. Н. Скрябина. Похороны поэта происходили при большом стечении народа (10-ти тысячная толпа шла за его гробом); надгробные речи были сказаны А. В. Луначарским, проф. П. Н. Сакулиным и Н. Бухариным.

Из воспоминаний А. В. Луначарского о Брюсове *).

Сначала несколько личных воспоминаний об этом замечательном человеке, память о котором я сохранил на всю мою жизнь.

Как всякий русский интеллигентный человек, я очень хорошо знал Брюсова по его сочинениям. Ведь не даром же он занимал одно из самых первых мест в русской литературе 90-х и 900-х годов, и при этом место, всех волновавшее и задевавшее, одних положительно, других отрицательно. У меня было двойственное чувство к Брюсову, как к писателю. Мне не нравился его журнал „Весы", с его барско-эстетским уклоном и постоянной борьбой против остатков народничества и зачатков марксизма, в тех областях литературы и искусства вообще, какие этот журнал освещал.

Мне не нравились во многом особый изыск в некоторых его произведениях, иногда щеголяние напряженною оригинальностью и многие другие эмоции и мотивы, которые были органически чужды не только мне лично, но всем нам, т.-е. той части русской интеллигенции, которая уже решительно повернула в великий фарватер пролетариата.

Но многое и привлекало меня к Брюсову. Чувствовалась в нем редкая в России культура. Это был, конечно, образованнейший русский писатель того времени, да и нашего тоже. Нравилась мне кованность его стиха, в отличие от несколько расслабленной музыки виртуозного Бальмонта. Даже у Блока слышались часто какая-то серафимическая арфа или цыганская гитара. В отличие от них Брюсов блестел металличностью своего стиха, экономичностью выражения, одним словом ка-

*) Взято из статей А. В. Луначарского в „Правде" (Московской) от 11 октября (№ 232) и от 12 октября (№ 233) 1924 г.

ким-то строгим, требовательным к себе самому, мастерством. Может быть, вдохновения в этом было меньше, чем у искрометного и талантливого, но неровного и даже шалого Бальмонта и странного мечтателя, сильного чувством и умом, но в тоже время туманного Блока. Но зато мужественности, сознательности как технической, так и по содержанию у Брюсова было больше, и это в моих глазах подымало его над фалангой других поэтов. От такой интеллектуально-заостренной и мужественной натуры казалось естественно слышать гимны в честь революции и те жгучие инвективы по отношению к оппортунистам, которые прозвучали из его уст в 1905 году.

Встретился же я с Брюсовым только в 1918 году в Москве, когда я был уже наркомом по просвещению. Брюсов пришел ко мне вместе с профессором Сакулиным обсудить вопросы о согласовании литературы и нового государства.

У Брюсова вид были несколько замкнутый и угрюмый. Вообще его угловатое калмыцкое лицо большею частью носило на себе печать замкнутости и тени, а в эти дни, когда он первый раз со мной встретился, он был озабочен серьезностью шага, который он намеревался сделать, шага, порывавшего,—по крайней мере, в то время,—с широкими кругами интеллигенции и связывавшего судьбу поэта навсегда с новой властью, властью рабочих, казавшейся в то время многим эфемерной. Брюсов вел переговоры со мной в высокой степени честно и прямо. Его интересовало, как отнесется советская власть к литературе. Ведь, вы помните, в своих первых революционных произведениях он приветствовал грядущих варваров, но приветствовал их скорбно, сознавая, что они разрушат накопленную веками культуру, и соглашаясь с тем, что культура эта, как барская, слишком виновна, чтобы сметь морально аппелировать против свежих и полных идеала убийц своих.

Но если Брюсов готов был сам лечь под копыта коня какого-то завоевателя, несущего с собой обновление жизни человеческой, то для него, конечно, несравненно было приемлемее встретить в этом завоевателе осторожное и даже любовное отношение к основным массам старых культурных ценностей. Мне на долю выпала честь в беседах с высокодаровитым поэтом развить те идеи в отношении к старой культуре, ди-

ректирование которых дано было нам партией и, прежде всего, незабвенным учителем.

И вот во время этих разговоров я иногда видел, как изумительно меняется Брюсов. Вдруг он подымал морщины своего, словно покрытого мглою лба, свои густые брови, немножко напоминавшие брови Плеханова, и смотрел вам прямо в сердце светлым голубым взглядом. В то же время лицо его как-то сразу внезапно заливалось необычайно милой задушевной и какой-то детской улыбкой. Но навсегда остался у меня в памяти от Валерия Яковлевича этот странный аккорд его внешности: лицо его всем своим, как прежде говорили, дегенеративным строением указывавшее на противоречия, на сложность его богатой натуры, складка упорства, как будто ознаменовавшая собой огромными усилиями достигнутую победу разума над хаосом страсти, и рядом с этим вот эта непосредственнейшая детская улыбка. Между прочим, для параллели скажу, нечто подобное есть и в Горьком. И Горький подчас хмурится, с'еживается и в то же время поражает вас ясным, добрым, радушным каким-то взглядом и ласковой, влекущей к себе улыбкой. Но все это было разительно в Брюсове; его мучительно и нескладно страдальческое усилие трагичности и просветы веселости и ласки разительны и неожиданны.

Брюсов, сначала показавшийся мне слишком замкнутым и странным, после этих моих наблюдений стал мне очень симпатичен. Потом нам пришлось с ним немало поработать. Он вступил в партию, и сейчас же попросил работу в Наркомпросе и одновременно начал целый ряд трудов в Госиздате, между прочим, и по переводам иностранных классиков, и по изданию Пушкина и т. д. Брюсов стремился относиться к своим обязанностям с высшей добросовестностью, даже с педантизмом...

П. С. Коган в своей статье о Брюсове очень верно отмечает необыкновенную четкость, которую Брюсов вносил в свою службу. Действительно, моя последняя встреча с ним была такова. На заседании художественной секции ГУС пред нами встало несколько недоразумений относительно практики в назначении и увольнении профессоров. Брюсов, как это ему часто приходилось, дал точные раз'яснения со ссылками на относящиеся сюда правила и распоряжения.

Брюсов был необыкновенно точным и аккуратным исполнителем. Добросовестность,—вот что бросалось в нем прежде всего, как в сотруднике нашем по Наркомпросу. Широкой инициативы на своем посту он не проявлял. Эта инициатива находилась у него, однако, целиком в его богатом поэтическом творчестве. Она вылилась тоже на почве художественного образования в России, но не столько в его „чиновничьей" работе, сколько в работе живой педагогической. Он создал институт художественной литературы. Конечно, в этом молодом учреждении он должен был давать талантливой молодежи необходимое техническое вооружение и арсенал знаний, который преследовал, кроме этого, целью своей выработать редакторов, инструкторов, и к которому сейчас же потянулись со всех сторон молодые силы, подчас очень талантливые. Не все с самого начала ладилось, может быть, и сейчас не все ладится, дело было новое. Но Валерий Яковлевич вносил в него всю душу, и главная его забота, его гордость были в том, чтобы придать пролетарский характер своему ВЛХИ, пролетарский по составу студенчества, по духу и по ясности поставленных задач.

Я от души желаю, чтобы это широко и энергично начатое дело поэта-общественника осталось ему длительным памятником, и чтобы ВЛХИ сумел просуществовать долго и плодотворно и без своего создателя и руководителя.

Мне редко удавалось присутствовать на лекциях Валерия Яковлевича, но он умел вносить в свое преподавание, как я знаю из отзывов и из книг, с необычайной, опять-таки почти педантичной щепетильностью по части уразумения формальной стороны художественно-литературной работы, и большую широту взглядов, и рядом с этим глубоко общественный подход. Я, например, был совершенно очарован его блестящей лекцией о Некрасове, которая, как я это видел, произвела глубочайшее впечатление на всю его молодую аудиторию...

Я жалею, что обстоятельства не позволили мне гораздо ближе подойти к Брюсову, узнать его хорошенько как человека, но его облик стоит передо мною пуританский, добросовестный, высококультурный, весь устремленный к задаче гармонизировать свои новые великие внутренние противоречия между старыми навыками, детьми старой культуры, и новыми убеждениями. А внутренно этот строгий и несколько несклад-

ный в своем усилии образ освещен тем очаровательным идеализмом, который светился порою в глазах Брюсова и кокорый сообщает для чуткого человека живую теплоту холодной красоте и подчас сумрачным усилиям, которыми полны его поэтические произведения...

Я заканчиваю воспоминанием об одном моменте: мы чествовали Брюсова. Много было всевозможных речей и поздравлений, живописен был момент, когда представители армянского народа положили свой национальный музыкальный инструмент к ногам поэта, превратившего в достояние русской культуры лучшие плоды их поэзии. И вот в самом конце Брюсов заявил, что вместо благодарности он попытается прочесть несколько своих стихотворений. Он вышел на авансцену. Он был бледен, как смерть, страшно взволнован. Он чувствовал, что в этот момент лично выступает перед народом, представленным этой переполненной залой, и своим четким, хотя глуховатым голосом, слегка картавя, стараясь говорить как можно громче, он прочел свой ответ на пушкинскую тему „Медный всадник“ и свой гимн новой Москве. В ритме этих стихотворений, каждом обороте и образе, как и в этом бледном лице с загоревшимися глазами, со спутанным вспотевшим чубом надо лбом, было столько энтузиастической веры в новую грозную и плодотворную силу, что зал разразился громкими аплодисментами, и все почувствовали, как потускнели остальные моменты юбилейного чествования. Зал готов был бы еще и еще слушать певца революции, но силы его были исчерпаны, и он, дрожащий от волнения, отошел в глубину сцены, где несколько друзей безмолвно пожимали ему руку.

Поэтический путь В. Брюсова.

Поэтический путь Вал. Брюсова—извилистый и трудный, особенно если его рассматривать с точки зрения отразившейся в творчестве поэта идеологии. В начале своего поэтического поприща крайний индивидуалист, временами даже анти-общественник, Брюсов кончает его восторженными гимнами в честь коллективизма и тех, кто построил свое мировоззрение на идее международной солидарности трудящихся. Преодоление крайностей индивидуализма, теснейшим образом связанного в психике, а также в поэзии Брюсова с тягою в туманные области мистики, в утонченнейший эстетизм, в эротизм, в экзотизм и т. д., далось Брюсову нелегко; ему пришлось затратить много сил, энергии, „сока нервов", прежде чем он стал певцом революции и сочувствователем пролетариата в его борьбе за лучшее социальное будущее. И период брюсовского индивидуализма и период его приобщения к общественности, благодаря выдающемуся таланту автора, нашли себе яркое и красочное отражение в его поэзии.

Знакомясь с этой последней, мы воочию видим, как в тесную причудливо украшенную храмину, где, отмежевавшись от жизни, в очарованном мире призрачных мечтаний и грез, занятый только собой, живет отшельник-поэт, начинают мало по малу проникать видения, звуки, запахи того многообразного, шумного мира, который существует за стенами храмины, как отшельник-поэт сначала пытается не видеть этих видений, не слышать этих звуков, не обонять этих запахов, но, в конце концов, поняв, что их не отогнать и не истребить никакими силами, упивается ими, ищет их и уже не хочет более оставаться в своей храмине, а выходит из нее на широкий вольный свет, где много пошлого и обыденного, но в то же время много великого и возвышающего душу...

Чтобы уяснить себе основные черты этой эволюции в мировоззрении Брюсова, необходимо хотя бы в самом беглом аспекте восстановить тот социальный фон, на котором развивалась его поэтическая деятельность.

Конец XIX и начало XX в. в. ознаменовались тем, что Л. Троцкий в своей книге „Литература и революция" называет „буржуазным перерождением интеллигенции". Процесс этот совершался в тесной зависимости от все усиливающегося роста промышленного и финансового капитализма, который, нуждаясь в обширных кадрах образованных служащих, быстро втягивал в орбиту своей деятельности широкие интеллигентские слои. Интеллигент же на службе капитала, волей или неволей, целиком или частично, но неизбежно приобщался к психологии и идеологии капиталистического класса. В результате „буржуазного перерождения" части интеллигенции, среди так называемого общества создавалась насыщенная буржуазностью, этическим мещанством атмосфера. В ней невыносимо тяжело было жить и дышать наиболее чутким, наиболее одаренным представителям той-же буржуазии, поскольку их энергия не была обращена на приумножение своих капиталов. Чуждаясь революционной борьбы, в которой с началом нового века приняла участие значительная часть интеллигентной, преимущественно, студенческой, крайне необеспеченной материально молодежи, они, воспитавшиеся на произведениях утонченных западно-европейских поэтов „конца века", очень боялись в то же время обуржуазиться, раствориться в море этического мещанства. Чтобы уберечь себя от этой перспективы, они — и сын придворного чиновника Д. С. Мережковский, и сын помещика, председателя земской управы К. Д. Бальмонт, и сын богатого коммерсанта В. Я. Брюсов — и многие их единомышленники уходят в индивидуализм и эстетизм, в эротизм и мистицизм. Эту группу писателей повелось называть символистами, ибо символ является для них основным и излюбленным приемом художественной изобразительности. Несмотря на то, что для поэтов рассматриваемой группы уход в индивидуализм, эстетизм и т. д. был своего рода бегством из насыщенной буржуазностью общественной атмосферы, многое в их идеологии являлось продуктом классовых, т. е. тех-же буржуазных воздействий на их сознание. И крайности индивидуализма, приводящие к обожествлению своего „я", и крайности эстетизма,

заставлявшие проповедывать так называемое „чистое искусство", и крайности эротизма, и мистицизм в его целом возросли на почве капиталистической культуры, таившей в себе ферменты гнилостного разложения и обреченной, как всем стало ясно в годы революций, на скорую гибель.

Среди поэтического наследия, оставшегося после Брюсова, есть несколько стихотворений автобиографического характера. Одно из них „М и р" (оно напечатано в приложении к книге) позволяет утверждать, что сам поэт очень хорошо понимал, какую огромную власть над его психикой приобрели впечатления детства и юности, проведенных в доме богатого коммерсанта. Поэт говорит здесь, что с первых лет его сознательной жизни его окружали „амбары темные, огромные кули, подвалы под полом;" ему постоянно приходилось наблюдать как в прилегающий к дому „плоский и глухой, всегда нечистый двор в'езжал телег тяжелый ряд, с самоуверенным и беспощадным скрипом, — и дюжим лошадям, и безобразным кипам, и громким окрикам сам двор казался рад. Шумели молодцы, стуча вскрывались люки, мелькали руки, пахло кумачом"... Поэт „мальчиком... у сумрачных весов играл в большие гири, и лазил по мешкам в сараях, где темно". „Амбары", „сараи", „подвалы с кипами товаров", „весы", „гири", „мешки", „кули" — одного этого перечня достаточно, чтобы прийти к заключению, что сознание Брюсова формировалось в обстановке большого капиталистического предприятия.

И естественным после этого является нижеследующее признание:

О, позабытый мир! и я дышал тем ядом,
И я причастен был твоей судьбе...
. . . . . И сам я в этом мире
Когда-то был, как свой, сливался с ним в одно...
И что-то было в нем родным и близким мне
Он глухо мне шептал и понимал его я.

Тем опаснее был „яд", источаемый этим миром, тем труднее была борьба с ним, что он проникал повсюду и вонзал свои „нежалящие когти" „в мечты, в желанья, в речь, во все". Поистине нужно было обладать огромным запасом сил, чтобы освободиться из под его влияния, и нет ничего удивительного, что Брюсов мог считать себя до некоторой степени освобожденным лишь к концу своей жизни и ценою напряженнейших

усилий... Его поэзия — живая летопись того, как совершалось это освобождение.

Прежде всего установим ее основные мотивы.

В стихотворении 1902 г. „L'ennui de vivre" поэт, углубляясь мыслью в „былое", указывает, что в его жизни преимущественное значение имели женщины, думы и книги.

Жизнь, т. е. бытие, определяет сознание, сознание определяет содержание поэтического творчества, а потому естественно, что содержание поэзии Брюсова в значительной своей части сводится к мотивам, внушенным женщинами, думами и книгами.

Суммируя свои впечатления от отношений с женщинами, поэт в только что упомянутом стихотворении своем указывает, что в этих отношениях главную роль играли чувственная страсть („отдавались мы вдвоем одной минуте", „груда тел, которые ласкал, которые меня ласкали и томили"), не лишенная, однако, какого-то мистического привкуса („вы скованы о мной небесным высшим браком") и, вместе с тем, мучительное чувство душевного, а может быть не только душевного, изнеможения и обременения.

В своей правдивой автобиографии Брюсов не скрыл, что уже 12 — 13 лет от роду он „узнал продажную любовь", не скрыл и того, что соблазны этого рода „оказались для него столь неодолимы, что он стал посвящать им значительную часть своего времени". Признания эти указывают, конечно, на то, каким страстным, необычайно рано пред'явившим свои права, темпераментом обладал поэт, имевший возможность не стесняться, благодаря своей принадлежности к богатой буржуазной семье, в расходах на женщин и разгул. Дыхание жгучего темперамента наложило отпечаток и на поэзию Брюсова. Среди лучших стихотворений Брюсова, обнимающих период с 1892 г. по 1909 г. и составивших трехтомное собрание, названное им „Пути и перепутья", значительный процент падает на долю тех, в которых воспевается чувственная страсть. Жгучее сладострастие эротических песен Брюсова давало в свое время повод говорить о „безнравственности" поэта, изображать его каким-то чудовищем распутства. Мы чрезвычайно далеки от подобной постановки вопроса, но тем не менее не можем не отметить, что эротические мотивы поэзии Брюсова, в особенности, присущая ей тенденция к изображению уродливых аномалий в об-

ласти полового чувства, развились на нездоровой почве буржуазной культуры того переходного момента, когда эта культура уже начала разлагаться и заражать миазмами своего разложения все входившее с ней в более или менее близкое соприкосновение. До каких пределов извращенности доходили отдельные ее представители, в особенности, так называемая, „золотая молодежь", это видно из поэмы Брюсова 1910 г. „Подземное жилище" (сборн. „Зеркало теней"). Как уже было указано выше, проникнутая чувственным экстазом „эротика" Брюсова носит иногда на себе отпечаток мистических настроений автора. В особенности, замечательно в этом отношении стихотворение „В Дамаск", в котором любовники представляются как бы священно-служителями, мир—храмом, ночь — алтарем и звезды—лампадами:

Губы мои приближаются
К твоим губам,
Таинства снова свершаются,
И мир как храм.
Мы, как священнослужители,
Творим обряд .. и т. д.

Характерно, что не у одного Брюсова нашла себе воплощение идея соприкосновения полового с религиозным, священным, небесным. По справедливому указанию Ю. М. Стеклова (сб. „Литературный распад", т. I, стр. 16), такими же чертами характеризуется литературное творчество известного французского романиста Гюисманса и духовного отца декадентов Поля Верлена. Верлен же, заметим, один из любимых поэтов Брюсова, знакомство с произведениями которого было для него „целым откровением" и которого с ранних лет он усердно переводил. Но если на рассматриваемых стихах Брюсова и сказалось влияние Верлена и других французских декадентов, то оно, во всяком случае, не лишило их оригинальности и искренности. Нет никакого сомнения в том, что в своих эротических стихотворениях Брюсов изображал, если не испытанное, то перечувствованное им самим.

Несмотря на то, что Брюсов ярче, чем кто либо другой из русских поэтов, воспел наслаждения чувственной любви, несмотря на то, что, с другой стороны, он готов был видеть в любви — „таинство", „священный обряд", благодаря которым

мы приобщаемся нездешнему мистическому миру, отнюдь нельзя сказать, чтобы его „эротика“ была проникнута оптимистическим настроением. Часто Брюсов говорит о страсти, как о „пытке“, „застенке“, „крестной муке“, „сораспятии“ и даже „смертном колесе“. Иногда он готов видеть в отношениях любовников—„роковой поединок“ двух душ, „упорную борьбу“, „бой“, который ведут между собой исконные враги—мужчина и женщина (см. об этом у Чуковского).

Иногда, отнюдь не часто, напряженная страстность эротических настроений Брюсова уступает место нежной влюбленности, для изображения которой он умеет находить соответствующие слова и краски (см. в приложении стих. „Первые встречи“).

В некоторой связи с эротическими стихотворениями Брюсова стоит одно замечательное его стихотворение „Habet illa in alvo“, в котором он с удивительными тактом и благородством затронул тему, отпугивавшую поэтов всех веков и народов, — изобразил беременную женщину и с поразительной силою воспел великое значение материнства в процессе мирового творчества.

Наряду с женщинами, одним из основных источников брюсовского вдохновения являлись к н и г и.

В вышеприведенной автобиографии поэта подчеркивается страстная любовь его к чтению („чтение стало моею страстью“), восходящая к самому раннему его детству, и содержатся определенные указания на то, какие книги он особенно любил читать. Едва ли это были не биографии великих людей, под влиянием которых Брюсов начал мечтать о том, что впоследствии и он непременно сделается великим. При столь исключительной роли книг в духовной жизни Брюсова, неудивительно, что книжные мотивы и темы должны были широкою струею влиться в его поэзию. И действительно, книжная начитанность Брюсова проходит красною нитью чрез его творчество. Но в разработке материала, часто заимствованного из книг, Брюсов обнаруживает значительную самостоятельность; он берет в книгах главным образом то, что находит сочувственный отклик в его душе, что соответствует его миросозерцанию. Индивидуалистические тенденции Брюсова заставляют его с особым вниманием вглядываться в образы „героев древности“, этих полубогов, полулюдей, недосягаемо высоко стоящих над толпой,

которыми так богата легендарная история Востока, древних Греции и Рима. Брюсов любит и среди „исторических людей" сравнительно недавнего прошлого искать соответствия образам „героев древности". В результате поэт создает настоящий „культ героев", которому посвящено не мало страниц в его „Путях и перепутьях", и который, быть может, ярче, чем что либо другое, свидетельствует о крайностях брюсовского индивидуализма. С особой любовью, с особой настойчивостью останавливается Брюсов на таких чертах, „любимцев веков" (так называется один из отделов его сборника „Третья стража"), которые резко возвышают их над массами. Поэта привлекает в „любимцах веков" способная все сокрушить, ни пред чем не останавливающаяся сила и демоническая гордость, порождающая стремление к одиночеству, от'единению от людей, среди которых они не видят себе равных.

Характерен в этом отношении образ ассирийского царя Ассаргадона (см. стихотворение этого имени в приложении) воздвигнувшего „на костях врагов" „свой мощный трон" и с неописуемою гордостью вещающего:

Кто превзойдет меня, кто будет равен мне?..
Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь Ассаргадон.

Подобными же чертами наделяет Брюсов другого „любимца веков" — Александра Македонского. Поэт изображает его в момент мятежа, когда среди войска раздавались против него „буйственные клики", когда слышался „ропот против божества". Но вот Александр выходит к мятежникам:

И к войскам ты стал, как солнце; ослепил их грозный взгляд,
И безвольно Македонцы вдруг отпрянули назад.

Александр напоминает своим воинам, что они всем обязаны его отцу и ему: если бы ни его отец, если бы ни он, они и теперь бы „как стада в полях бродили, в чащу прятались, как зверь", предлагает им уйти, куда хотят, и заканчивает свою речь словами:

. . . Но — Аммона вечный сын —
Здесь, по царственному праву, я останусь и один.

На другой день мятежники покорились: „в поле стон необычайный, молят, падают во прах"... Александр, повидимому,

прощает их, тайно „вздыхая о своих ночных мечтах“, т. е. о том, что ему не суждено было изведать полного одиночества.

Третьего „любимца веков“ султана Баязета—мысль о том,

„Что в мире есть еще о д и н,
Что дерзких двое во вселенной“,

заставляет „взреветь, как вольного льва долин“ и броситься в смертельный бой с Тимуром.

Изображая четвертого „любимца веков“, флорентийского поэта Данте, в котором он видит „о д и н о ч е с т в а живое воплощение“, Брюсов подчеркивает, что его жизнь была жизнью в „аду“, ибо его окружали люди, принявшие „вид звериный“, и он должен был звать „владык“, чтобы они пришли и усмирили „бессмысленных детей“. Нельзя не отметить, что в этом стихотворении Брюсов не выдерживает об'ективного тона: он называет Данте, этого „отверженца великого“, „родною себе тенью“ и „на всей земле прообразом единым“ тех „безумцев и поэтов наших дней“, к которым причисляет и себя.

Галлерею „любимцев веков“ завершает Наполеон. Это такой же титанический образ, как и те, о которых только что было упомянуто.

Ты скован был по мысли Рока,
обращается к нему поэт,
Из тяжести и властных сил:
Не мог ты не ступать глубоко,
И шаг твой землю тяготил.
Что строилось трудом суровым,
Вставало медленно в веках,
Ты сокрушал случайным словом,
Движеньем повергал во прах!
Сам изумлен служеньем счастья,
Ты, как пращей, метал войска,
И мировое самовластье
Бросал, как ставку игрока.

Люди не могли победить Наполеона, против него восстала стихия („и стало, наконец, вселенной не в моготу носить тебя“...), и он очутился на безлюдном (опять таки мотив полного одиночества) утесе,

Где, на раздолье одичалом,
От века этих дней ждала
Тебя достойным пьедесталом
Со дна встающая скала.

Если Наполеон побежден стихиею, то герой лучшей из поэм Брюсова „Царю северного полюса“ (начата в сентябре 1898 г., кончена в мае 1900 г.) „викинг великий“ Свен Краснозубый победил стихию, добрался до Полюса и там умер. Зачем ему продолжать жизнь, раз „к целям жизни он проник“? Правда об его победе над стихией никто не узнает, но не в этом ли высшее счастье? Да, в этом, решительно заявляет поэт в знаменитом шестистишии:

Если был победитель, тебя развенчавший, о Полюс,
Имя его отошло в тихую тайну веков.
Люди наших дней не победы ищут, а славы;
Сладок им не венец — рукоплесканья венцу.
О, великая сладость — узнав, утаить от вселенной!
Мне довольно знать, — что я свершил, — о д н о м у.

В позднейшем сборнике „В е н о к“ (2-ой т. „Путей и Перепутий“) „любимцев веков“ сменяет „Правда вечная кумиров“,—так назвал Брюсов отдел книги, посвященный изображению новой галлереи сильных героических личностей, которые, обладая титанической силой и мощью, стоят выше обычной морали и заслуженно, по Брюсову, презирают людское стадо.

Права чародейка Медея, убийством своих собственных детей отомстившая неверному Язону и навсегда порвавшая с будничной жизнью в „тиши семейства“, с жизнью достойной „простой жены раба“, но недостойной ее, жрицы Гекаты, обладающей тайной властью над людьми, выше всего ставящей свободу, „ветер воли“ (стих. „Медея“).

Прав и римский триумвир Антоний, который в момент кровавого боя, когда решался вопрос „о скипетре вселенной“, покинул на гибель свой флот, последовав за кораблем своей возлюбленной египетской царицы Клеопатры, чтобы еще раз взглянуть в желанный взор“. Если нет обязанностей в отношении семьи, детей (Медея), то не может их быть и в отношении общества. Стихотворение заканчивается настоящим дифирамбом в честь Антония, примеру которого поэт страстно желал бы последовать.

Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,

И стыд и гибель — за тебя!
О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!

В этом прекрасном по форме стихотворении (оно напечатано в приложении) аморализм, а вместе с ним антиобщественность поэта, вскормленные упадочною атмосферою капиталистического строя, достигают своего апогея.

Индивидуалистическая струя густо окрасила и другие стихотворения „Правды вечной кумиров". Их герои совершают сверхчеловеческие деяния. Певец Орфей, чтобы вернуть к жизни свою умершую подругу, „лирою заклял бога"; Ахиллес спокойно и радостно идет к алтарю со своей невестой, хотя и знает, что у алтаря его подстерегает смертоносная стрела Аполлона (стих. „Орфей и Эвридика" и „Ахиллес у алтаря").

„Правда вечная кумиров" переходит в 3-й т. „Путей и перепутий". Здесь перед нами пламенный Икар, готовый взлететь на своих крыльях к солнцу, хотя бы за это пришлось заплатить жизнью (стих. „Дедал и Икар" напечатано в приложении), здесь Одиссей, томящийся тоскою, что ему не удалось изведать смертоносной любви Сирен, этих обольстительных „темнокудрых дев". И Ахиллес, и Икар, и Одиссей по Брюсову, разновидности того существа, имя которому „сверхчеловек": они не только выше людей, но и выше смерти.

В „Зеркале Теней", сборнике 1912 г., „Правду вечную кумиров" сменяют „Властительные тени", среди которых выделяются величественные образы Александра Македонского и Моисея.

Вершители божественной справедливости, судьи нездешнего мира, Минос, Эак и Радамант, не знают, как судить усопшего Александра, ибо, по мысли автора, его деяния выше суда не только земного, но и небесного...

Моисей—истинный победитель смерти.

Народ пастуший и бездомный,
Толпу, бродящую в песках,
На подвиг страшный и огромный
Ты дерзостно обрек в веках.
Сказал: „Ты сломишь все препоны!

Весь этот мир, он мой, он наш!
Я дам тебе мои законы —
Ты их вселенной передашь.
Что может мира жалкий житель?
И что могу — я, человек?
Ты будь моей мечты хранитель
Теперь, потом, в веках, во век!"

Стремления Моисея исполнились; он мог умереть спокойно, так как знал, „что во все пределы его глаголы долетят", что его мысль никогда не умрет. Заканчивается стихотворение полным экспрессии гимном личности, подчинившей себе на многие столетия целый народ.

Какие-б племена ни встали,
Какие-б ни пришли века,
Им всем вручит твои скрижали
Твоих наместников рука.
Как древле, грозный и безмерный,
Над буйным миром ты стоишь
И свой народ, поныне верный,
Ведешь державно и хранишь.

Влияние книжных источников, хотя, конечно, не их одних, а иногда и личных впечатлений, чувствуется в довольно таки многочисленных стихотворениях Брюсова (он называет их обычно одами и посланиями), посвященных отдельным странам („Италия"), городам („Флоренция Декамерона", „Париж", „Венеция", „Опять в Венеции"), памятникам („Лев святого Марка", „К Медному Всаднику", „Карл XII"), зданиям („К собору Кэмпора", „На форуме").

Книги, в особенности, когда они читаются с таким увлечением и постоянством, с каким читал их Брюсов, возбуждают работу интеллекта, работу мысли, внушают потребность разобраться в вечных проблемах бытия, а также установить определенное отношение к явлениям современной общественной действительности.

Брюсов не даром говорит в несколько раз уже упоминавшемся стихотворении: „L'ennui de vivre", что, наравне с женщинами и книгами, жизнь его была посвящена д у м а м.

И думы... Сколько их, в одеждах золотых,
Заветных дум, лелеянных с любовью,
Принявших плоть и оживленных кровью!..
Я обречен вести всю бесконечность их...
Куда-б я ни бежал истоптанной дорогой,
Они летят, бегут, ползут за мной.

Соответственно с этим и в поэзии Брюсова думы являются одним из основных элементов, и правы, конечно, те критики, которые считают его поэтом мысли, по преимуществу, в противоположность Бальмонту, в творчестве которого преобладает стихия чувства. Даже в эротических стихотворениях Брюсова, несмотря на жгучую чувственность создаваемых им образов, сказывается это. Тем более сказывается на стихотворениях типа баллад, од, посланий, по самому существу не только допускающих, но и иногда требующих некоторой дозы рассуждения. Наконец, у Брюсова не мало стихотворений, которые он так и называет „думами", подчеркивая, что они принадлежат к лирике мысли.

В 1-ом т. „Путей и Перепутий" сюда надо отнести стихотворения отделов: „Первые раздумья" и „Прозрения", а во 2-м т. стихотворения отделов „Вступления" и „Думы". Стихотворения эти в их совокупности легче всего позволяют проследить ту эволюцию в мировоззрении, которая в конце концов заставила Брюсова сойти с позиций крайнего индивидуализма. Любопытно отметить, что даже тогда, когда Брюсов воспевал жгучие радости полового экстаза и величественные образы „любимцев веков", у него не было уверенности, что избранный им и его единомышленниками путь крайнего индивидуализма и эстетизма, эротизма и мистицизма—правильный путь. Уже в очень ранних „Первых раздумьях" в замечательном стихотворении „Свиваются бледные тени" (оно напечатано в приложении) сквозит грустное сознание, что дорога, которую избрал поэт, обманула его, и он и шедшие ею путники стоят „в стыде и тревоге" у самого края сумрачной бездны. Несколько позже в стихотворении „В неоконченном здании" картина значительно уже конкретизируется: себя и своих друзей поэт изображает блуждающими „в неоконченном здании по шатким дрожащим лесам" и сознающими, что рано или поздно это здание будет достроено:

Здесь будут проходы и комнаты,
Все стены задвинутся сплошь...
Громада до неба взойдет
И в глуби разумно расчисленной
Замкнет человеческий род...

Но по какому „чертежу" осуществится достройка? Этого поэт покамест не знает, и душа его по прежнему полна тревоги...

В данном стихотворении Брюсов, несомненно, имеет в виду грядущее социальное строительство, социальные перемены. Мыслью о них полны и соседящие со стихотворением „В неоконченном здании“ стих. — „В дни запустений“ и „Брань народов“. Все неотвязнее и неотвязнее проникает в сознание поэта убеждение, что его пленил „беглый свет“ обманчивого миража, что „идол Красоты“, которому он до сих пор служил, „мертвый идол“, и что современность властно требует не стоять в „стыде и тревоге“ на одном месте, а смело итти вперед.

Подымайте, братья, посохи,
Дальше, дальше, как и шли!
Паруса развейте в воздухе,
Дерзко правьте корабли.
Жизнь не счастье, но томление,
Но прозренье, но борьба.
Все вперед — от возрождения
К возрожденью сквозь гроба!

(см. в приложении стих. „Братьям соблазненным“).

Чтобы Брюсов мог так заговорить, какие-то новые перспективы должны были открыться его взору и потрясти его психику. Какие же именно? На этот вопрос отвечают его стихотворения начала 1900-х г.г. „Побег“ и „Работа“.

В первом из них поэт говорит о том, что, заслышав „трубный глас“, он покинул „альков“, где изведал столько наслаждений в об'ятиях своей возлюбленной (преодоление эротизма), распахнул тот тяжелый полог, который скрывал от него все многообразие жизни (преодоление, частичное, конечно, индивидуализма) и

„В последний раз взглянул я свыше
В мое высокое окно:
Увидел солнце, небо, крыши
И города морское дно.
И странно мне открылась новой,
В тот полный и мгновенный миг,
Вся жизнь толпы многоголовой,
Заботы вспененный родник“.

Брюсов, конечно, не вполне прав, утверждая, что он в „последний раз“ взглянул глазами индивидуалиста, который смотрит на толпу непременно сверху вниз, чрез высокое окно. Такие превращения не делаются сразу, но во всяком случае шаг, и крупный шаг, к преодолению крайностей индивидуализма

был совершен поэтом. О том же повороте в сторону реальной „повседневной жизни", „мудрой" в своей простоте, неизбежным элементом которой является „труд", свидетельствует стих. „Работа".

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука.
Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!
Я хочу изведать тайны
Жизни мудрой и простой.
Все пути необычайны,
Путь труда, как путь иной.

И что всего удивительнее, поэт не только не чувствует себя несчастным, отвергнув „дары царевны" и сбросив „порфиру (индивидуалистическую порфиру) с плеч", но радуется этому до слез (см. заключительное четверостишие стих. „Побег"). Он изображает себя тем „блудным сыном" (стих. того же названия), который когда-то „одиночество, как благо приветствовал в ночной тиши", а теперь страстно стремится в дом родной, чтобы

На мир лицом к лицу взглянуть,
И, безраздумно, бестревожно,
В мгновеньях жизни потонуть.

Как мы уже видели, рассматриваемый перелом в миро и жизне-восприятии Брюсова, по его собственному признанию, был обусовлен тем, что поэт увидел „солнце, небо, крыши", „города морское дно" и „многоголовую толпу". „Солнце, небо", природа вообще, без сомнения, восхищали Брюсова, и это нашло себе отражение в его поэзии, о чем будет речь ниже, но с несравненно большой силой его внимание, внимание исконного горожанина, привлекали многоразличные впечатления города и городской жизни. Город интересовал Брюсова и служил постоянным об'ектом его творческого воспроизведения даже тогда, когда он находился в индивидуалистической полосе своего развития, но близкое соприкосновение со стихией города, бесспорно, дало мощный толчек той напряженной работе духа, которая помогла поэту освободиться от крайностей инди-

видуализма. Как певец города, Брюсов продолжал дело, начатое Некрасовым, первым русским поэтом, обратившимся к изображению повседневной городской жизни... Мы не рискнем, конечно, говорить о непосредственном влиянии городских мотивов поэзии Некрасова на поэзию Брюсова, но недаром ведь последний с такою настойчивостью подчеркивает на страницах своей автобиографии, что еще в детстве большинство стихов Некрасова он знал наизусть и что его собственные юношеские стихи были в „некрасовском духе": кое-что из городских мотивов и тем Некрасова, думается, было использовано впоследствии Брюсовым. В 1912 г., в одной из своих критических статей, характеризуя Некрасова, как „поэта города", Брюсов, между прочим, пишет:

„Действительно, с самых ранних до самых последних стихов Некрасова в его поэзии определенно чувствуется влияние города. Оно сказывается и в отдельных сравнениях, которые понятны и значительны лишь для современного горожанина (например: „Не так ли ты, продажная краса..." и т. д.). и в ряде отдельных штрихов, разбросанных даже по стихам, посвященным деревне, и в самом складе речи торопливой, острой, свойственной нашему веку. Но и непосредственно к городу Некрасов возвращался постоянно то с беспощадным реализмом бытописателя, то с внезапным порывом романтика, то с проклятием, то с гимном, но всегда с сознанием значения города, его величия в современной жизни. То художник-изобразитель, то поэт - обличитель, Некрасов упорно говорил нам и о городе, об его сумрачном влиянии, об его разнообразных, но всегда поражающих обликах... Красота городских туманов, уличных фонарей, ярко освещенных магазинных витрин, шумного и пестрого столичного движения,—все то, что любовно разрабатывают поэты наших дней, уже намечено в поэзии Некрасова".

Для всякого, даже поверхностно знакомого с поэзией Брюсова, ясно, что многое из того, что им сказано здесь о Некрасове, как „поэте города", может быть отнесено к нему самому. Тем не менее, мы напрасно стали бы искать у Брюсова „перепевов" Некрасова: перепевов не может быть и потому, что Брюсов в период расцвета своего таланта представлял слишком яркую поэтическую индивидуальность, чтобы кого нибудь „перепевать", кому нибудь „подражать", и потому,

что город в эпоху Некрасова, иными словами город 40—70 г. г., резко отличался от города эпохи Брюсова, города последнего детятилетия XIX в. и двух первых десятилетий XX в. Город Брюсова, преимущественно, индустриальный, капиталистический город. Вот почему изображая этот последний, Брюсов неминуемо должен был натолкнуться на тот класс, чей тяжкий, до кровавого пота труд создал современный город со всем его блеском, великолепием, роскошью, увы! доступными для немногих. Но посвященные пролетариату мотивы только впоследствии зазвучали в „городских стихах“ Брюсова.

В своих ранних книгах он воспевает, преимущественно, те стороны городской жизни, которые наиболее близко были известны ему.

В полном соответствии с эротическим характером своей лирики Брюсов рисует соблазны продажной любви, этого детища капиталистического города (стих. „Летучая Мышь“). Охваченный влечением к чувственному наслаждению, поэт не в силах одолеть этих соблазнов, но тем не менее „жрицы“ наслаждения, „продажные“, рождают в его душе чувство жгучего сострадания. Трудно без волнения читать стих. „Жрица осужденная“, в котором в уста „жрицы“, уже неспособной испытывать наслаждение, переносящей с равнодушием трупа „и ласки юношей, и грязь восторгов старчески бессильных“, поэт вкладывает такие слова:

И если бог пошлет мне сон
О недоступном и о счастьи,—
Мне про любовь не скажет он,
Мне не приснится сладострастье,
Но буду вновь ребенком я
Под белым пологом кроватки,
И сядет рядом мать моя,
Озарена огнем лампадки.

А четырнадцатилетней „продажной“ (см. стих. того же имени) так нейдет, по словам поэта, „пунцовый цвет, символ страстного чувства“; в пышном „алькове“ ей грезятся не поцелуи, а „свод голубой и зеленые листья“.

Неудивительно после этого, что „сияющий, изысканный вертеп“ временами кажется поэту „черным склепом“ и „под музыку, сулящую канкан“ из глаз его льются горькие слезы (стих. „В вертепе“). Неудивительно, что когда он видит „гряз-

ных и пьяных проституток", над которыми „смеются извозчики праздные", ему кажется, что

.... Горестно церкви туманные
Пред ними крестами склоняются
(стих. „Подруги").

„Крестами склоняются", благославляя их крестное страдание.

К раннему творчеству Брюсова относится и длинное стихотворение „Три свидания", в котором дана уже более широкая картина городской жизни. Здесь Брюсов впервые изображает человеческую толпу („Черное море голов колыхается, как живое чудовище"... и т. д.), ресторан в пассаже, платформу железнодорожного вокзала...

В „Третьей страже" в отделе „В стенах" поэт пропел восторженные славословия городу и городской культуре:

Люблю дома, не скалы,
Ах, книги краше роз!....
или
Я люблю большие дома
И узкие улицы города....
Пространства люблю площадей,
Стенами кругом огражденные....
Город и камни люблю,
Грохот его и шумы певучие...
или
Жадно тобой наслаждаюсь,
Сумрак улиц священный!
Тайно тебе поклоняюсь,
Будущий царь вселенной,
Ты далеко руки протянешь
В пустыни, к людям, на горы,
Солнечный свет затуманишь,
К полутьме приучишь взоры.

Городу посвящена и большая поэма „Замкнутые" (1900—1901 г.), представляющая собой несколько растянутое, но местами яркое и правдивое описание буржуазного города с его церквами, музеями, академиями, в котором везде и повсюду царит размеренная „Пошлость", где человек чувствует себя рабом, окованным веками освещенными обычаями и традициями. Бежать от этих оков некуда, разве только в игорные

и публичные дома. Задыхаясь в этом городе и не уяснив еще себе, что пошлость и рабство—порождения не города, как такового, а господствующего в нем буржуазного уклада жизни, поэт готов приветствовать гибель городов и городской культуры в огне кровавых сражений.

Во 2-м т. „Путей и Перепутий“ городские мотивы еще более расширяются и углубляются. Начать с того, что поэт достигает поистине классических четкости и яркости в изображении лихорадочного темпа городской жизни, того ни на минуту не прекращающегося движения, которое является одной из характерных черт современного города. Уже начинает входить в хрестоматии и, несомненно, утвердится в них хотя бы это блестящее описание улицы из поэмы „Конь блед“:

Улица была—как буря. Толпы проходили....
и т. д. (см. приложение)

Не уступают ему и нижеследующие строфы из стихотворения „Париж“, в которых Брюсов еще и еще раз подчеркивает свою страстную любовь к городу вообще. Конечно, не об одном Париже думал он, когда писал:

И я к тебе пришел, о город многоликий,
К просторам площадей, в открытые дворцы;
Я полюбил твой шум, все уличные крики:
Напев газетчиков, бичи и бубенцы;
Я полюбил твой мир, как сон, многообразный
И вечно дышащий, мучительно живой....
Твоя стихия—жизнь, лишь в ней твои соблазны;
Ты на меня дохнул—и я на веки твой.
Порой казался мне ты беспощадно старым,
Но чаще ликовал, как резвое дитя,
В вечерний, тихий час по меркнущим бульварам
Меж окон блещущих людской поток катя.
Сверкали фонари, окутанные пряжей
Каштанов царственных; бросали свой призыв
Огни ночных реклам; летели экипажи,
И рос, и бурно рос глухой, людской прилив.
И эти тысячи и тысячи прохожих
Я сознавал волной, текущей в новый век,
И жадно я следил теченье вольных рек,
Сам—капелька на дне в их каменистых ложах.

Ярок и Брюсовский „дифирамб"—„Городу", печатаемый в приложении.

Но что особенно важно, что особенно примечательно, Брюсов 2-го т. „Путей и Перепутий", Брюсов сборников „Риму и Миру" (1902—1903 г. г.) и „Венок" (1904—1905 г. г.) увидел, наконец, рабочих, увидел представителей пролетариата, будущего класса—освободителя. Удивляться этому, конечно, не приходится. Надо было быть слепым и глухим (к сожалению, таких слепых и глухих не мало было в рассматриваемую эпоху среди представителей русской художественной литературы), чтобы игнорировать все растущее значение промышленного пролетариата. Не забудем, что со средины 90-х гг. рабочий класс заявил о себе рядом грандиозных стачек. Общее число их за десятилетие 1895 г. по 1905 г., по данным фабричной инспекции, исчислялось в 1765. Если стачки первых лет рассматриваемого периода носят почти исключительно профессиональный характер, то впоследствии к их профессиональным целям явным образом присоединяются и политические. Стачки становятся в руках не по дням, а по часам развивающегося пролетариата мощным орудием в борьбе с существующим строем, орудием, силу которого не может не сознавать и правительство. Оно делает отчаянную попытку с помощью Зубатова и других своих агентов взять рабочее движение в свои руки: полиция создает ряд рабочих организаций, всемерно стараясь подчинить их своему влиянию и ценою незначительных улучшений в экономическом положении пролетариата удержать его от участия в политической борьбе. Однако эта попытка, в конечном результате, терпит полнейшую неудачу, и рабочее движение принимает все более и более грозные формы. С первых лет нового столетия стачки начинают осложняться уличными, в иных случаях, прямо-таки грандиозными демонстрациями, и принимают характер открытой борьбы не только с предпринимателями, но и с правительством. Демонстрации начались в феврале 1901 г. в Харькове, оттуда перекидываются в Москву и Петербург, где отличаются особою грандиозностью. Осень следующего 1902 г. дает пример забастовки, распространившейся на все крупные предприятия такого промышленного центра, как Ростов на Дону. Год спустя, летом 1903 г., всеобщая забастовка охватывает уже не один город, а весь юг России. В ней принимают участие уже сотни тысяч рабочих,

и она позволяет говорить о выступлении на арену целого революционно-настроенного класса.

Сначала Брюсов интересуется рабочими со стороны их личных переживаний, и его две „Фабричные“ (см. в приложении) или „Девичья“, удивительные по своему языку, художественно передающему особенности фабричного говора, изображают любовные переживания рабочих, при чем Брюсов сумел, не становясь на ходули, не впадая в сантиментально-слащавый тон, подчеркнуть и силу, и бескорыстие, и удивительные нежность и тонкость любовных эмоций, свойственных пролетариям и пролетаркам.

Вскоре поэт уже переходит к чисто-социальной трактовке навеянных наблюдениями над пролетариатом и думами об его общественной роли тем. Все декламационные сборники обошло его ставшее классическим стихотворение „Каменщик“ (печатается в приложении), в котором рабочие-каменщики изображены строящими тюрьму для таких же пролетариев, как они сами, более того, для своих сыновей и братьев, и, что особенно характерно, сознающими все возмутительное уродство такого положения вещей, но покамест вынужденными мириться с ним. Настроения рабочих масс в предреволюционную эпоху верно угаданы Брюсовым в стих. „Ночь“, заканчивающемся такою картиною:

Глядят несытые ряды
Фабричных окон в темный холод,
Не тихнет резкий стон руды,
Ему в ответ хохочет молот.
И, спину яростно клоня,
Скрывают бешенство проклятий
Среди железа и огня
Давно испытанные рати.

В 1905 году „давно испытанные рати“ вышли на арену революционной борьбы, и отклик на свершающиеся события был дан Брюсовым в его сборнике „Венок“ (2-ой т.), вышедшим из печати в дни декабрьского восстания в Москве. В нем Брюсов обрисовался уже не только как певец города, но и как певец революции. Если целый отдел его сборника „Повседневность“ посвящен специфически городским мотивам (стихотворения: „Встреча“, „На улице“, „В публичном доме“, „В ресторане“, „В игорном доме“), то другой отдел „Современ-

ность", весь овеян дыханием разразившейся грозы. Его возглавляет превосходное стихотворение „Кинжал", в котором поэт, порывая с прошлым, отрекаясь от крайностей своего индивидуализма, радуется тому, что он „с людьми", и восклицает:

Чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я—отзыв вам кричу, я—пессенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

В сильном стихотворении „Юлий Цезарь", оправдывая Цезаря, восставшего против „нестерпимого гнета" правящих классов древнего Рима, Брюсов оправдывает в то же время и русских революционных борцов. Суровою угрозою по адресу хозяев исторической сцены звучат заключительные слова:

Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы—выродки былых времен!
Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!

В стих. „Довольным", под которым стоит знаменательная дата „18 октября 1905 г.", поэт, солидаризируясь с наиболее радикальными элементами современного общества, выражает свое глубокое недовольство „полумерами", к которым относит и манифест 17 октября, и клеймит „довольных". Стихотворения „Лик Медузы" и „К счастливым" замечательны в том отношении, что, провидя гибель буржуазной культуры, в которой для него многое еще близко и дорого, поэт все же восклицает в них:

Но при заревах у плахи,
На руинах всех святынь,
Славь тяжелых ломов взмахи,
Лиры гордой не покинь—

и готов примириться с мыслью, что ему и ему подобным предстоит „лечь в веках перегноем", на котором возникает новый мир, основанный на „свободе, равенстве и братстве", мир, которому суждено воплотить мечту о полном торжестве прекрасного и разумного человека над природой и ее стихийными силами.

Веянием революционной бури дышат и поэмы Брюсова этого времени. Он славит в них в духе Верхарна

толпу, „возвышающую свой мятежный голос“, топчущую „все прошлое во прах“ („Слава толпе“), разрушительных духов огня („Духи огня“). Поэту видится среди человеческого моря, заполняющего городские улицы, призрак апокалипсического „бледного коня“ („Конь блед“) с его огнеликим всадником“, в руках у которого свиток, возвещающий „имя: Смерть“.

Несмотря на столь решительно заявленные симпатии Брюсова делу русской революции, было бы совершенно ошибочно считать его в эти годы последовательным и убежденным сторонником идеологии революционного пролетариата. Приобщение к ней Брюсова произошло значительно позже, а покамест со струн его лиры срывались иной раз не только проникнутые прежним духом крайнего индивидуализма ноты *), но и ноты буржуазно-националистического и даже шовинистического характера.

Так именно Брюсов реагировал на русско-японскую войну. Например, в стихотворении „Согражданам“, написанном под впечатлением поражений русской армии, он взывает о прекращении политической борьбы:

Теперь не время буйным спорам,
Как и веселым звонам струн,
Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун!

В стихотворении же „Цусима“ „Россия горестная“ представлена им рыдающей „над погибшей славой своей затеи роковой“; заканчивается стихотворение меланхолическим признанием:

И снова все в веках далеко,
Что было близким наконец—
И скипетр Дальнего Востока,
И Рима Третьего венец.

Десятью годами позднее новая война опять таки возбуждает в душе Брюсова под'ем националистических настроений, о которых свидетельствует целый ряд его стихотворений, со-

*) Эти ноты слышатся, например, в ярком стихотворении „Поэту“ (см. в приложении), в котором вопрос о призвании поэта решается совсем в ином духе, чем в упомянутом выше стихотворении „Кинжал“.

бранных в книге 1916 г. „Семь цветов радуги", в отделе „Желтый". В них Брюсов, подобно другим поэтам этих лет, обрушивается с горькими укоризнами против „тевтона", переполнившего своим варварством „чашу меры" (стих. „Тевтону"), неумеренно восхваляет „русского богатыря", который, „ступив ногой на камень финский, другою стал на понт Эвксинский и грозно озирает ширь" (стих. „Туркам") и его союзников— „свободного француза" и „свободного британца" (стих. „Старый вопрос").

Тем не менее, несмотря на националистический угар, задурманивший его голову, поэт всем существом своим чует, что неизбежным следствием войны будет колоссальный сдвиг в области социально-экономического и политического строения общества. И пророческим вдохновением звучат хотя бы следующие строфы из его стихотворения „Последняя война", написанного под впечатлением от начала военных действий (под стихотворением дата: 20 июля 1914 г.):

. . . слишком долго мы коснели
И длили Валтассаров пир!
Пусть, пусть из огненной купели
Преображенным выйдет мир!
Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков,
В неверном озареньи славы
Грядущий мир да будет нов!
Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы,—
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!

Брюсов ошибался: „последняя война" оказалась преддверием целого ряда войн, но „Валтассаров пир", пир империалистов и капиталистов, создавших свое благополучие на эксплоатации трудящихся, не без влияния войны, всем и каждому показавшей, до каких преступлений способны доходить тогдашние „хозяева исторической сцены", по крайней мере, в той стране, сыном которой был Брюсов, окончился, и „строение шаткое веков",—в дни Февраля самодержавно-бюрократический, а затем в дни Октября и буржуазно-капиталистический строй,— рухнуло.

Эти события окончательно определили мировоззрение Брюсова: он решительно становится на сторону Октябрьской

революции, и его стихи за этот период времени, поскольку он в них откликается на вопросы политической и социальной действительности, отражают уже коммунистическую идеологию.

Остановимся на некоторых из них.

С бурным восторгом приветствует поэт революцию в стихотворении: „К русской революции“ (из сборника „В такие дни“; оно напечатано в приложении). В нем подчеркивается титанический размах и грозная стремительность разыгравшихся событий, которые заставили „обратить глаза на восток“ и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке. Поэт не хочет замалчивать тех бедствий, которыми сопровождались революционные годы. В стих. „Третья Осень“ (там-же) он говорит об ужасах голода, экономической разрухи, разнуздании животных инстинктов, но эти ужасы ни на минуту не затемняют для него светлого лика Революции, не заглушают тех „новых гимнов“, которые поет освобожденная страна, не колеблют уверенности, что Россия „идет к заповедным победам“,

Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена.

Тот же мотив в чудесном, очень оригинальном по замыслу стихотворении „Парки в Москве“ (там-же; печатается в приложении). Парки выискивают „народной жизни нить“, находят ее и, разрезав, „цепко связывают к пряже свежую кудель“—

„Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодра, легка,
И тянулась нить рассученная
Вновь на долгие века“.

Итак здесь сказывается не только уверенность в возрождении России, но и уверенность в прочности и долговечности нового порядка.

В одном из стихотворений этой группы прорывается даже нота, отзывающаяся революционным, если можно так выразиться, национализмом. „Только русский“, такова основная мысль Брюсова, может „без притворства“ приобщиться „к нашей новой

вольности“ (там же; стих. „Только русский“). Это, конечно, явное преувеличение, явившееся, однако, результатом беззаветного восхищения и преклонения пред тем делом, которое русскими руками было свершено в октябре 1917 г. Чувство, внушенное поэту октябрем, ярче всего сказались в выдержанном и строгом стих. „Октябрь 1917 г.“ (в сборнике „Миг“, печатается в приложении). Завоевания Октября, твердо верит Брюсов, нужно защищать, и в стих. „К Варшаве“ (сб. „В такие дни“) он обращается с энергичным призывом:

В Варшаве, красноармейцы!
В Балтике английский флот.
Знамена красные, взвейтесь,
Трубите красный поход!

Творцов Октября, „коммунаров“, Брюсов приветствует в стих. того же названия (сбор. „Миг“), видя в них победоносных завершителей той борьбы, которую когда-то вели:

Вальденцы, Виклеф, Гусса стан,
Пророки нового Синая,
Ты, исступленный Иоанн!
И вы, кто жертвой искушенной
Легли в Париже, у стены,
Чьи грозно вопящие тени
В лучах побед вознесены!

К неприемлющим Октябрь у Брюсова отношение отрицательное. В стих. „Товарищам интеллигентам“ („В такие дни“) он упрекает их в том, что они, любившие мечтать о „новом потопе“, о гибели старого мира, когда их мечта осуществилась, и

„То, что мелькало во сне далеком,
Воплотилось в дыму и гуле,

— испугались и отступили пред грозным ликом современности...

Что-ж не спешите в вихре событий,

обращается к ним Брюсов—

Упиться бурей, грозно странной,
И что-ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?
Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах, да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Это стихотворение показывает, как далеко отошел Брюсов от той сравнительно недавней поры своей жизни, когда и он принадлежал к „фантастам“ и „эстетам“.

Наш обзор поэтического наследия Брюсова будет неполным, если мы не отметим, что он проявил себя, как выдающийся мастер в изображении природы... Некоторые из его картин природы, правда, отличаются известной долей изысканности, но эта изысканность не отнимает у них высокой художественности. Для примера сошлемся на стихотворение „Вечер на Сайме“ (оно печатается в приложении). Впрочем, Брюсову удаются и картины природы, дышащие чарующей простотой и непосредственностью, напр. стих. „Льдинка“ (см. в приложении).

В заключение несколько слов о художественной стороне поэзии Брюсова. Он долгое время был и теперь еще для некоторых остается „спорным“ поэтом. В то время, как иные критики готовы были видеть в нем „первого из современных русских поэтов“, „единственного великого русского поэта современности“, чье имя „можно поставить наряду только с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Некрасовым и Боратынским“ („Луг Зеленый“ Андрея Белого), „короля поэтов“ (Д. Философов), другие третировали его, как „илота искусства“, „труженика литературы“, „кустаря поэзии“,в лучшем случае „преодоленную бездарность“, которая „все же не дар“ (Ю. Айхенвальд, а вслед за ним П. С. Коган). Не разделяя крайностей ни того, ни другого мнения, ограничим свою задачу об'ективным перечнем как художественных достоинств, так и художественных дефектов поэзии Брюсова.

„Поэт мрамора и бронзы“ (А. Белый), Брюсов „обладает искусством чеканки, высекания из мрамора, резьбы по меди и стали“ (А. Измайлов); „у его стихов та особенность, что чего бы они ни коснулись, они всему придают строгость благородство и странную какую-то торжественность“ (К. Чуковский); „поэзию Брюсова можно было бы сравнить с залой в стиле ампир, где по бокам стоят статуи..., где в начале чувствуешь себя и холодно и неуютно, а затем начинаешь определенно сознавать, что эта строгая и стройная размеренность, несомненно, красива и импозантна“, „Брюсов—поэт торжественности по преимуществу“ (С. А. Венгеров). Эти суждения, принадлежащие критикам различных лагерей и методов, по-

зволяют считать более или менее общепризнанными свойствами поэзии Брюсова пластичность как бы изваянных образов; строгость как бы вычеканенного стиха, торжественную красоту общей художественной концепции. Работа над мрамором и бронзой, резьба по меди и стали требуют и напряженного труда, и солидных знаний; для нее недостаточно одного непосредственного таланта. Брюсов отнюдь и не скрывает, что „трудолюбие и выучка", которые готов поставить в вину ему П. Коган, являются одним из главных орудий его поэтического творчества. Свойственной Бальмонту стихийности, непосредственности в поэтическом темпераменте Брюсова очень мало. И нужно сознаться, что далеко не всегда Брюсову с помощью трудолюбия и выучки удается претворить в перлы поэзии те впечатления, которые дает ему жизнь, те идеи и образы, которые он черпает из книг. Трудно отрицать, что среди стихотворений Брюсова не мало таких, на которых лежит мертвящая печать кропотливой работы, сухой надуманности, книжности. Но, с другой стороны, когда усилия поэта, трудолюбца и книжника озаряет огонь вдохновения, то он создает вдвойне прекрасные произведения. Среди них есть такие, талантливость которых, если и не граничит с гениальностью, как выразился один из критиков об упомянутом выше стихотворении „Habet illa in alvo", то, во всяком случае, и несомненна и велика. Изваяния из мрамора и бронзы всегда холодны. Холодна и поэзия Брюсова, но это не мешает ей быть прекрасной, ибо холод не убивает красоты. Резьба по стали и меди—работа, не лишенная изысканности. Печать изысканности лежит и на поэзии Брюсова. Изысканность нередко приводит поэта с его любовью к изображению великих людей, торжественных событий, к некоторой аффектации, нарочитой приподнятости тона. Но далеко не всегда эти аффектация и приподнятость бывают излишни, иногда они удивительно гармонируют с общим строем Брюсова.

Что касается собственной словесной стороны поэзии Брюсова, то, не отрицая того, что он иной раз бывает повинен и в прозаичности и в неуклюжести, на что с такою настойчивостью указывают Ю. Айхенвальд и П. Коган, приходится все же признать его удивительным мастером слова. Вот как характеризует его с этой стороны столь авторитетный именно в данной области ценитель, как А. Белый: „В послед-

нем сборнике Брюсова (имеется в виду „Венок“) с особенной яркостью определились детали его творчества. Любовь к слову самому по себе достигает здесь красот неописуемых... Брюсов—первый из современных русских поэтов воскресил у нас любовь к рифме. Не он ли в „Риму и Миру“ щедрой рукой разбросал новые рифмы, тотчас же подхваченные его учениками и подражателями...

Есть у Брюсова утонченнейшие образы... Есть образы, точно расшитые лучезарными красочными шелками. Например:

Желтым шелком, желтым шелком
По атласу голубому
Шьют невидимые руки.
К горизонту золотому
Ярко пламенным осколком
Сходит солнце в час разлуки.

Но поэт редко пользуется пышностью красок, которыми владеет так мастерски. Вместо сверкающих эпитетов Брюсов обращается к эпитетам верным, простым, подмечающим характерную подробность изображаемого...

Воскресив в нас любовь к рифме, Брюсов первым воскрешает перед нами понимание интимной жизни строчки. Своеобразный ритм его размеров углубляется гениальным подбором не только самих слов, но и звуков в словах. Музыкальному ритму соответствует ритм мыслей и образов. Удивительно умеет Брюсов пользоваться параллелизмом слов и образов, в то же время чаруя слух и воображение прихотливым разнообразием в пределах однообразия данного параллелизма.

Мы не ждали, мы не знали,
Что вдвоем обречены.
Были чужды наши дали,
Были разны наши сны...

Брюсов первый из современных поэтов сумел изгнать из стиха лишние, пустые слова, которыми даже большинство лучших поэтов пользуется для наполнения стиха. У Брюсова нет ненужных слов. Поражает его ясная, простая, короткая речь...

Он лучший стилист среди современных русских поэтов" („Луг зеленый") *).

Очень выдержаны в стилистическом отношении и два романа Брюсова: „Огненный ангел" из жизни немецкого средневековья и „Алтарь победы" из римской жизни. В обоих романах, особенно в первом, автор блеснул прекрасным знанием эпохи, позволившим ему художественно и ярко воссоздать картины далекого исторического прошлого.

Менее удачны рассказы Брюсова из современной жизни и его драма-утопия—„Земля".

Мы не коснулись в нашем кратком изложении трудов Брюсов в области критики и истории литературы (список главнейших из них дан в прилагаемой к книге библиографии) однако, думается нам, и обзора его поэтических творений достаточно, чтобы судить о величине его вклада в сокровищницу русского художественного слова, а следовательно и о размерах потери, понесенной, благодаря его смерти, нашею литературой.

В. Максимов-Евгенье

---

*) Здесь не лишнее будет указать, что в последние годы своей жизни Брюсов, как поэт, подвергся жестокой критике со стороны органа писателей футуристов и „формалистов" „Леф" (см. статью Б. Арватова в № 1„Лефа"—„Контр-революция формы"). Критика эта во многом представляется нам односторонней и пристрастной, но в разбор ее мы не вдаемся, так как это потребовало бы много места и времени.

Примерный план литературного вечера (утра), посвященного памяти В. Я. Брюсова.

Отделение I.

1. Биография Брюсова — доклад; в качестве иллюстрации читается стих. „Мир".

2. Основные мотивы поэзии Брюсова—доклад;

а) индивидуалистические мотивы — читаются стих. „Ассаргадон", „Дедал и Икар" и „Антоний";

б) городские мотивы — читаются стихотв. „Конь Блед", „Городу" и „Фабричная";

в) природа в поэзии Брюсова—читаются стих. „Вечер на Сайме" и „Льдинка".

Отделение II.

1. Брюсов, как поэт-гражданин — доклад:

а) мотивы разочарования в крайностях индивидуализма и эстетизма, мотив обреченности старого мира — читаются стихотв. „Свиваются бледные тени" и „Братьям соблазненным";

б) преддверие 1905 года и 1905 год в лирике Брюсова— читаются стих. „Каменщик", „Кинжал", „Знакомая песнь" и „Довольным".

в) Октябрьская революция в поэзии Брюсова — читаются стих. „Русской революции", „Парки в Москве" и „Октябрь 1917 года".

Примечание. Подчеркиваем, что мы предлагаем вниманию устроителей литературных вечеров (утр), посвященных памяти Брюсова, не программу, а только при-

мерный план. На основе его можно разработать различные программы, привлекая иной материал, чем тот, который указан нами. Желательно только, чтобы аудитория познакомилась с Брюсовым и как поэтом индивидуализма, и как певцом города, и как художественным изобразителем природы, и, наконец, как Тиртеем двух российских революций—1905 г. и Октябрьской.

В аудиториях не школьных, обладающих достаточной подготовкой и зрелостью, возможно прочтение и нескольких эротических стихотворений Брюсова, не включенных, однако, за одним исключением, в нашу хрестоматию.

В заключение считаем необходимым оговорить, что при устройстве вечеров (утр), посвященных памяти Брюсова, желательно возможно более широкое применение хорового чтения, инсценировок (произведения Брюсова дают благодарный материал и для того, и для другого); очень было бы хорошо, если бы удалось оживить вечера (утра) музыкальными и вокальными номерами: многие брюсовские стихи переложены на музыку.

Где это возможно, следует организовать хотя бы небольшую брюсовскую выставку, собрав портреты покойного поэта, издания его произведений, литературу о нем, газеты с посвященными ему статьями и его некрологами и т. д.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В. Я. БРЮСОВА.

Мир.

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,
Как сон непонятый и прерванный, как бред...
Я берегу его — единое наследство
Мной пережитых и забытых лет.
Я помню формы, звуки, запах... О! и запах!
Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под-полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет не зоркий,
Лежащий без теней в ленивой тишине...
Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком,
Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.
Стеной и вывеской кончался кругозор
(Порой закат блестел на куполе далеком).
И этот старый двор всегда был пуст и тих,
Как заводь сорная, вся в камышах и тине...
Мелькнет монахиня... Купец в поддевке синей...
Поспешно пробегут два юрких половых...
И снова душный сон всех звуков, красок, линий.
Когда в'езжал сюда телег тяжелый ряд.
С самоуверенным и беспощадным скрипом, —
И дюжим лошадям, и безобразным кипам,
И громким окрикам сам двор казался рад.
Шумели молодцы, стуча вскрывались люки,
Мелькали руки, пахло кумачем...
Но проходил тот час, вновь умирали звуки,

Двор застывал во сне, привычном и немом...
А под-вечер опять мелькали половые,
Лениво унося порожние судки...
Но поздно... Главы гаснут золотые.
Углы — приют теней — темны и глубоки.
Уже давно вся жизнь влачится неисправней,
Мигают лампы, пахнет керосин...
И скоро вынесут на волю, к окнам, ставни,
И пропоет замок, и дом заснет — один.
Я помню этот мир. И сам я в этом мире
Когда-то был, как свой, сливался с ним в одно.
Я мальчиком глядел в то пыльное окно,
У сумрачных весов играл в большие гири
И лазил по мешкам в сараях, где темно.
Мечтанья детские в те дни уже светлели:
Мне снились — рощи пальм, безвестный океан,
И тайны полюсов, и бездны подземелий,
И дерзкие пути междупланетных стран.
Но дряхлый ветхий мир на все мои химеры
Улыбкой отвечал, как ласковый старик.
И тихо надо мной — ребенком — ник,
Громадный, неподвижный, серый.
И что-то было в нем родным и близким мне.
Он глухо мне шептал, и понимал его я...
И смешивалось все, как в смутном сне:
Мечта о неземном и сладкий мир покоя...

. . . . . .

Первые встречи

Как любил я, как люблю я эту робость первых встреч,
Эту беглость поцелуя и прерывистую речь!
Как люблю я, как любил я эти милые слова,—
Их напев не позабыл я, их душа во мне жива.
от ласковых признаний, я от нежных просьб отвык,
Стал мне близок крик желаний, страсти яростный язык..
Из восторгов и уныний я влекусь на голос твой,
Как изгнанник, на чужбине услыхавший звук родной.

Здесь в саду, где дышат тени, здесь, где в сумраке светло,
Быстрой поступью мгновений вновь былое подошло.
Вижу губы в легкой сети ускользающих теней.
Мы ведь дети! все мы дети, мотыльки вокруг огней!
Ты укрыла, уклонила в темноту смущенный взгляд...
Это было все, что было, возвратил вечерний сад!
Страсти сны нам только снятся, но душа проснется вновь.
Вечным светом загорятся—лишь влюбленность! лишь любовь!

Ассаргадон.

Ассирийская надпись.

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон, —
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.
Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Кто превзойдет меня? кто будет равен мне?
Деянья всех людей — как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах — как детская забава.
Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон.

Дедал и Икар.

Дедал. Мой сын! мой сын! Будь осторожен,
Спокойней крылья напрягай.
Под ветром путь наш ненадежен,
Сырых туманов избегай.
Икар. Отец! ты дал душе свободу,
Ты узы тела разрешил.
Что-ж медлим? выше! к небосводу!
До вечной области светил!
Дедал. Мой сын! Мы вырвались из плена,
Но пристань наша далека:
Под нами — гривистая пена,
Над нами реют облака...
Икар. Отец! Что облака! Что море!
Удел наш — воля мощных птиц:
Взлетать на радостном просторе,
Метаться в далях без границ!
Дедал. Мой сын! Лети за мною следом
И верь в мой зрелый, зоркий ум.
Мне одному над морем ведом
Воздушный путь до белых Кум.
Икар. Отец! К чему теперь дороги!
Спеши насытить счастьем грудь!
Вторично не позволят боги
До сфер небесных досягнуть!
Дедал. Мой сын! Не я-ль убор пернатый
Сам прикрепил к плечам твоим!
Взлетим мы дважды, и трикраты,
И сколько раз ни захотим!

Икар. Отец! Сдержать порыв нет силы!
Я опьянел! я глух! я слеп!
Взлетаю в высь, как в глубь могилы,
Бросаюсь к солнцу, как в Эреб!
Дедал. Мой сын! мой сын! Лети срединой,
Меж первым небом и землей...
Но он — над стаей журавлиной,
Но он — в пучине золотой!

———

О юноша! презрев земное,
К орбите солнца взнесся ты.
Но крылья растопились в зное,
И в море, вечно голубое,
Безумец рухнул с высоты

Антоний.

Ты на закатном небосклоне
Былых, торжественных времен,
Как исполин стоишь, Антоний,
Как яркий, незабвенный сон.
Боролись за народ трибуны
И императоры — за власть,
Но ты, прекрасный, вечно юный,
Один алтарь поставил — страсть!
Победный лавр, и скиптр вселенной,
И ратей пролитую кровь
Ты бросил на весы, надменный,
И перевесила любовь!
Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.
Когда одна черта делила
В веках величье и позор,
Ты повернул свое кормило,
Чтоб раз взглянуть в желанный взор
Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель — за тебя!
О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!

Поэту.

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор!
Да будет твоя добродетель—
Готовность взойти на костер.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

В минуты любовных об'ятий
К бесстрастью себя приневоль
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.

В снах утра и в бездне вечерней
Лови, что шепнет тебе Рок,
И помни: от века из терний
Поэта заветный венок.

Свиваются бледные тени.

Свиваются бледные тени,
Видения ночи беззвездной,
И молча над сумрачной бездной
Качаются наши ступени.

Друзья! Мы спустились до края!
Стоим над развернутой бездной —
Мы, путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая.

Мы верили нашей дороге,
Мечтались нам отблески рая...
И вот — неподвижны — у края
Стоим мы в стыде и тревоге.

Неверное только движенье,
Хоть шаг по заветной дороге —
И нет ни стыда, ни тревоги,
И вечно, и вечно паденье!

Качается лестница тише,
Мерцает звезда на мгновенье,
Послышится-ль голос спасенья:
Оттуда — из бездны иль свыше?

Братьям соблазненным

Светлым облаком плененные,
Долго мы смотрели вслед.
Полно, братья соблазненные!
Это только беглый свет.

Разве есть предел мечтателям?
Разве цель нам суждена?
Назовем того предателем,
Кто нам скажет — здесь она!

Разве редко в прошлом ставили
Мертвый идол Красоты?
Но одни лишь мы прославили
Бога жажды и мечты!

Подымайте, братья, посохи,
Дальше, дальше, как и шли!
Паруса развейте в воздухе,
Дерзко правьте корабли!

Жизнь не счастье, но томление,
Но прозренья, но борьба.
Все вперед — от возрождения
К возрожденью, сквозь гроба!

Конь Блед.

И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть.
Откровение, VI, 8.

I

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком,
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны.
Души опьяневших, пьяных городом существ.

II

И внезапно — в эту бурю, в этот адский шопот,
В этот, воплотившийся в земные формы бред,
Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот,
Заглушая гулы, говор, грохоты карет.
Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
Полосами яркими, как пряжей пышных ниток,
В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь.

III

И в великом ужасе, скрывая лица, — люди
То бессмысленно взывали: „Горе! с нами бог!“
То, упав на мостовую, бились в общей груде ..
Звери морды прятали, в смятеньи, между ног.
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей, — в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
„Люди! Вы-ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас от мора, глада и меча!“

IV

Но восторг и ужас длились — краткое мгновенье,
Через миг в толпе смятенной не стоял никто:
Набежало с улиц смежных новое движенье,
Было все обычным светом ярко залито.
И никто не мог ответить, в буре многошумной,
Было ль то виденье свыше или сон пустой.
Только женщина из зал веселья, да безумный
Все стремили руки за исчезнувшей мечтой.
Но и их решительно людские волны смыли,
Как слова ненужные из позабытых строк.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный, людской поток.

Городу.

Дифирамб.

Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — не слабеющий магнит.

Драконом, хищным и бескрылым
Засев, — ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.

Твоя безмерная утроба
Веков добычей не сыта, —
В ней неумолчно ропщет Злоба,
В ней грозно стонет Нищета.

Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для женщин, для картин, для книг;

Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов — орду,
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!

И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат,
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастный яд, —

Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.

Коварный змей, с волшебным взглядом,
В порыве ярости слепой,
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.

Фабричная.

Есть улица в нашей столице.
Есть домик, а в домике том
Ты пятую ночь в огневице
Лежишь на одре роковом.
И каждую ночь регулярно
Я здесь под окошком стою,
И сердце мое благодарно,
Что видит лампадку твою.
Ах, если б ты чуяла, знала,
Чье сердце стучит у окна!
Ах, если-б в бреду угадала,
Чья тень поминутно видна!
Не снятся-ль тебе наши встречи
На улице, в жуткий мороз,
Иль наши любовные речи
И ласки, и ласки до слез?
Твой муж, задремавши на стуле,
Проспит, что ты скажешь в бреду,
А я до зари караулю
И только при солнце уйду.
Мне вечером дворники скажут,
Что ты поутру отошла,
И молча в окошко укажут
Тебя посредине стола.
Войти я к тебе не посмею,
Но земный поклон положив,
Пойду из столицы в Рассею
Рыдать на раздолии нив.
Я в камнях промучился долго,
И в них загубил я свой век.
Прими меня, матушка Волга,
Царица великая рек.

Каменщик.

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик, с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно, не ты и не твой брат, богатый,
Не зачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто-ж проведет в ней без сна?
— Может быть, сын мой, такой же рабочий,
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
— Эй, берегись! под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!

Кинжал.

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок.
М. Лермонтов.

Он вырван из ножен и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый,
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.

Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми,—затем, что я поэт,
Затем, что молнии сверкали.

Знакомая песня.

Эта песнь душе знакома,
Слушал я ее в веках.
Эта песнь—как говор грома
Над равниной, в облаках.

Пел ее в свой день Гармодий,
Повторил суровый Брут,
В каждом призванном народе
Те же звуки оживут.

Это — колокол вселенной
С языком из серебра,
Что качают миг мгновенный
Робеспьеры и Мара.

Пусть ударят неумело:
В чистой меди тот же звон!
И над нами загудела
Песнь торжественных времен.

Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

Довольным.

Мне стыдно ваших поздравлений,
Мне страшно ваших гордых слов!
Довольно было унижений
Пред ликом будущих веков!

Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочек травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и блаженны вы!

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!

Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агора, а общий зал.

На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь — и с ней меня!

18 октября 1905 г.

К русской революции.

Ломая кольцо блокады,
Бросая обломки ввысь,
Все вперед, за грань, за преграды
Алым всадником—мчись!

Сквозь жалобы, вопли и ропот
Трубным призывом встает
Твой торжествующий топот,
Над простертым миром полет.

Ты дробишь тяжелым копытом
Обветшалые стены веков,
И жуток по треснувшим плитам
Стук беспощадных подков.

Отважный! яростно прянув,
Ты взвил потревоженный прах.
Оседает гряда туманов,
Кругозор в заревых янтарях.

И все, и пророк и незоркий,
Глаза обратив на восток,
В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке,
Видят твой огненный скок.

Там взыграв, там кляня свой жребий,
Встречает в смятеньи земля
На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

Парки в Москве.

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,
Что, как звезды на заре,
Парки древние присутствовали
В день крестильный, в октябре.

Нити длинные, свивавшиеся
От Ивана Калиты,
В тьме столетий затерявшиеся
Были в узел завиты.

И когда в Москве трагические
Залпы радовали слух,
Были жутки в ней—классические
Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,
То крестьянками в лаптях,
Пробегали всюду—с ножницами
В дряхлых, скорченных руках.

Их толкали, грубо стискивали,
Им пришлось и брань испить,
Но они в толпе выискивали
Всей народной жизни нить.

И на площади,—мне сказывали,—
Там, где Кремль стоял, как цель,
Нить разрезав, цепко связывали
К пряже—свежую кудель,

Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодра, легка;
И тянулась нить, рассученная
Вновь на долгие века.

Октябрь 1917 года.

Есть месяцы, отмеченные Роком
В календаре столетий. Кто сотрет
На мировых скрижалях иды марта,
Когда последний римский вольнолюбец
Тирану в грудь направил свой клинок?
Как позабыть, в холодно-мглистом полдне,
Строй дерзких, град картечи, все, что слито
С глухим четырнадцатым декабря?
Как знамена, кровавым блеском реют
Над морем Революции Великой
Двадцатое июня, и десятый
День августа, и скорбный день брюмер.
И та же Франция явила два пыланья—
Февральской и июльской новизны.
Но выше всех над датами святыми,
Над декабрем, чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И, заревом немеркнущим, победно
Нам озаривший правый путь в веках!

Вечер на Сайме.

Желтым шолком, желтым шолком
По атласу голубому
Шьют невидимые руки.
К горизонту золотому
Ярко-пламенным осколком
Сходит солнце в час разлуки.

Тканью празднично пурпурной
Убирает кто-то дали,
Расстилая багряницы,
И в воде желто-лазурной
Заметались, заблистали
Красно-огненные птицы.

Но серебряные змеи,
Извивая под лучами
Спин лучистые зигзаги,
Беспощадными губами
Ловят, ловят все смелее
Птиц, мелькающих во влаге.

Льдинка.

Ветер вешний, ветер нежный
С лаской веет над душой.
Над поляной зимне-снежной
Утро дышит синевой.

Здравствуй, ветер, вестник вольный
Новых дней и вновь весны,
Безглагольный, богомольный
Голос ясной вышины!

Все, что было, будет снова, —
Зелень луга, щебет птиц.
Все былое будет ново
В белых отсветах зарниц.

Будет знойный праздник света,
Дрожь бессумрачных ночей...
Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!
Опьяни и облелей!

Веет ветер. Сладко тает
На поляне вешний снег.
Небо тайно обещает
Радость жизни, сладость нег.

Где же первая былинка,
Робкий цветик голубой?
В синем небе тает льдинка,
Расплываясь синевой.

Библиография *).

а) Издания художественных произведений Брюсова.

1.	Сборники „Русские символисты“ **), I, II и III вып.	1894—1895 гг.
2.	„Chefs d'oeuvre“ (стихи)	1895 г.
3.	„Me eum esse“ (стихи)	1897 „
4.	„Tertia vigilia“ (стихи)	1900 „
5.	„Urbi et orbi“ (стихи)	1903 „
6.	„Венок“ (стихи)	1905 „
7.	„Пути и перепутья“ (трехтомное издание стихотворений, в которое вошло лучшее из написанного Бр.) .	1907—1909 гг.
8.	„Земная ось“ (рассказы и драматич. произведения; из последних важнейшим является утопическая драма „Земля“)	1907 г.
9.	„Огненный ангел“ (повесть XVI в.) .	1908 „
10.	„Зеркало теней“ (стихи)	1912 „
11.	„Ночи и дни“ (2-ая книга рассказов) .	1913 „
12.	„Семь цветов радуги“ (стихи)	1916 „
13.	„Последние мечты“ (стихи)	1920 „
14.	„В такие дни“ (стихи).	1921 „
15.	„Миг“ (стихи)	1922 „
16.	„Дали“ (стихи)	1922 „
17.	„Кругозор“ (избранные стихи) . . .	1922 „

*) Наша библиография во всех трех ее отделах отнюдь не претендует на исчерпывающую полноту.

**) Оговариваемся, что в этих сборниках, наряду с Брюсовым, печатались и другие поэты.

Кроме того, необходимо отметить, что в 1913—1914 гг. издательство „Сирин“ предприняло издание „Полного Собрания сочинений и переводов В. Брюсова“ в 25 тт. Издание осталось незаконченным. Вышли в свет тт. I, II, III и IV, в которые вошел, в несколько более полном виде, тот же материал (стихи), что и в трехтомное собрание „Пути и перепутья“, и тт. XII—XIII („Алтарь победы“, повесть IV в.), т. XV (театр) и т. XXI (переводы „французских лириков“).

б) Издания научных и критических сочинений Брюсова.

1.	„Об искусстве“	1899 г.
2.	„Письма Пушкина и к Пушкину“ . .	1903 „
3.	„Лицейские стихи Пушкина. К критике текста“	1907 „
4.	„Испепеленный“ (к характеристике Гоголя)	1909 „
5.	„Далекие и близкие“ (статьи и очерки о русских поэтах от Тютчева до наших дней)	1911 „
6.	„За моим окном“ (статьи)	1913 „
7.	„Летопись исторических судеб армянского народа“	1918 „
8.	Опыты по метрике и ритмике	1918 „
9.	Краткий курс науки о стихе Ч. I . . .	1919 „

в) Биографические материалы и критические статьи о Брюсове.

1. Автобиография Брюсова, см. „Русская литература XX в.“, под ред. С. А. Венгерова. Вып. I. Изд. т-ва „Мир“.

2. С. Венгеров. Брюсов, см. Новый Энциклопедический Словарь Брокгауза, т. VIII.

3. П. Коган. Очерки по истории новейшей русской литературы. Ч. III, вып. II.

4. В. Львов-Рогачевский. Лирика современной души, см. „Совр. Мир“, 1910 г. № 6.

5. Ф. Батюшков. Брюсов, см. „Русская литература XX века“. Вып. I.

6. Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей, т. III

7. К. Чуковский. „От Чехова до наших дней“.

8. А. Белый. „Луг зеленый“.

9. Ю. Каменев. О Ласковом старике и о В. Брюсове, см. сб. „Литературный распад“, т. I.

10. А. Измайлов. Литературный Олимп.

11. В. Жирмунский. Брюсов и наследие Пушкина.

12. Б. Арватов. Контр-революция формы, см. „Леф“ № 1.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

От составителя 3

1. Автобиография В. Я. Брюсова (в извлечениях) 5

2. Дополнение к автобиографии. 16

3. Из воспоминаний А. В. Луначарского о Брюсове. . . 18

4. Поэтический путь Вал. Брюсова (от индивидуализма к коллективизму), ст. В. Е. Максимова-Евгеньева . 23

5. Примерный план литературных вечеров (утр), посвященных памяти Брюсова. 52

6. Избранные стихотворения В. Я. Брюсова. 55

7. Библиография. 81

Приложения: 1. Портрет В. Я. Брюсова. 2. Снимок с неизданного варианта LX сонета Шекспира.

5 =
158741/1271

(12)
МК 401981

Цена 60 коп.

80 Лб

М-03

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Издательство и склад изданий—Улица Плеханова, 7.
Книжный магазин № 2—Улица Плеханова, 5.
Книжный магазин № 3—Проспект 25 октября, 20.
Книжный магазин № 5—Петроградск. сторона, Пр. К. Либкнехта, 33

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00039889344